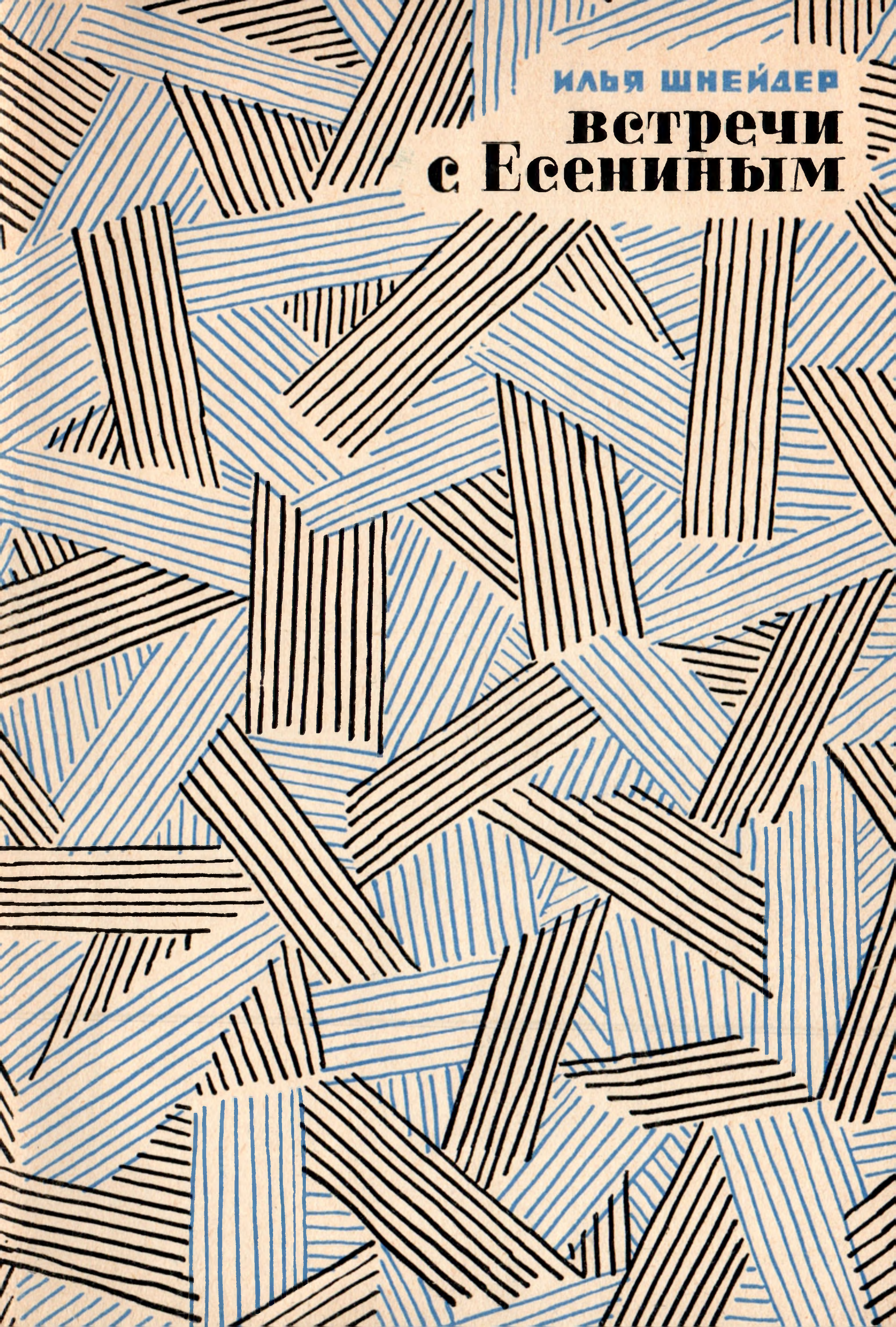


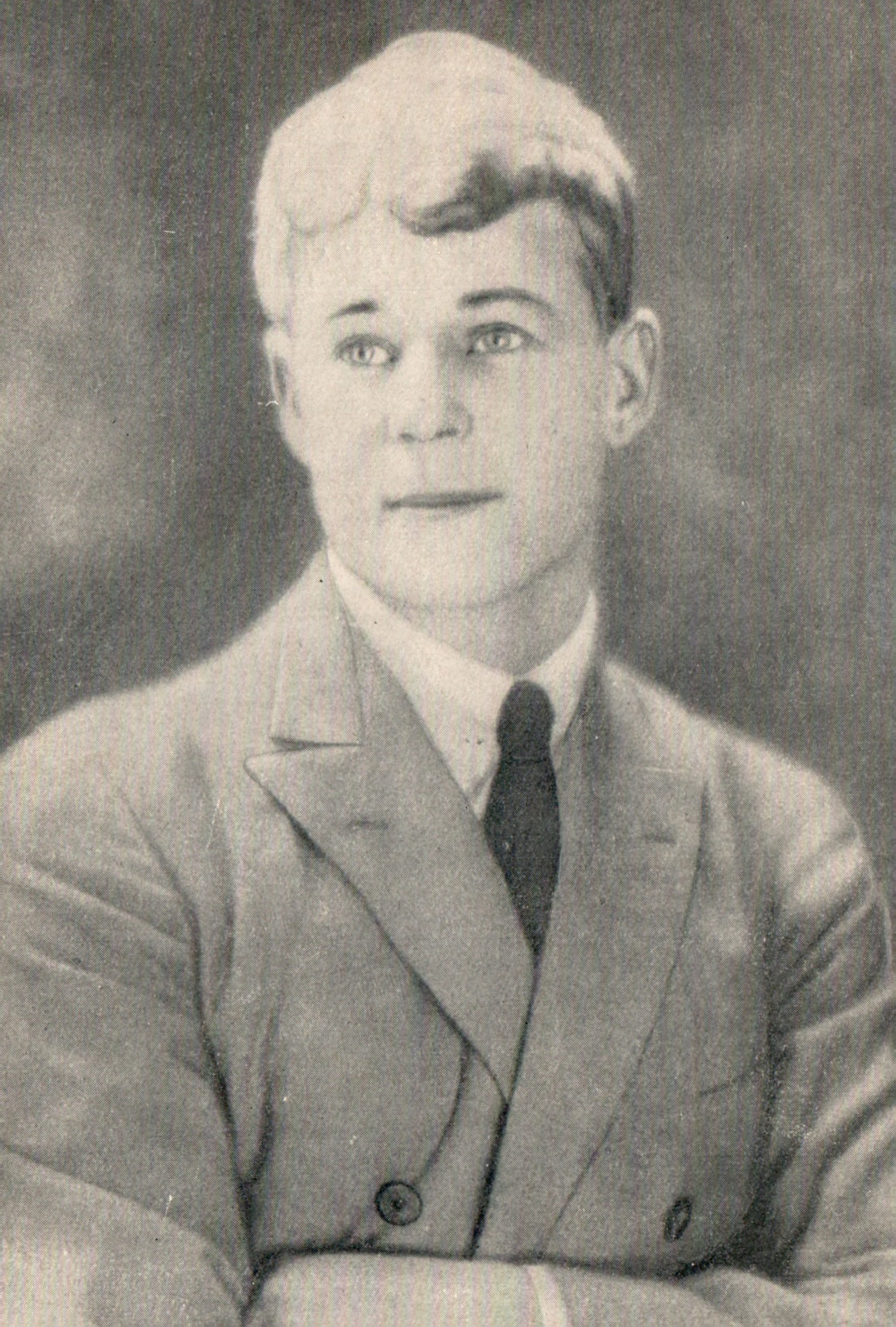
Встречи с Есениным




Советская
Россия


ИЛЬЯ ШНЕЙДЕР
встречи с Есениным

ИЗДАТЕЛЬСТВО
СОВЕТСКАЯ РОССИЯ
МОСКВА—1965 г.



Илья Шнейдер

Встречи с Есениным

воспоминания

издательство
"Советская
Россия"
Москва · 1965

8 Р 2
Ш 76

Илья Шнейдер не просто встречался с Сергеем Есениным и Айседорой Дункан в разное время и при разных обстоятельствах. Он жил с ними, был связан с Дункан общей работой. В воспоминаниях воссоздается многогранный образ поэта. Шнейдер не пытается сгладить острые углы, он дает портрет без ретуши, и на этом портрете Есенин — непосредственный и добрый, смелый и талантливый.

Внутренне полемизируя с автором нашумевших воспоминаний о Есенине А. Мариенгофом, Шнейдер рассказывает правду и об Айседоре Дункан — человеке умном, обаятельной женщине и настоящем, большом художнике.

Воспоминания И. Шнейдера не только помогают читателям глубже понять этих людей, но и рисуют быт Москвы 20-х годов.

Вместо введения

Долгие годы отделяют меня от событий, о которых рассказывает эта книга. Но за эти годы мне не раз приходилось «перелистывать» страницы минувшего в беседах, докладах, статьях, лекциях или просто в рассказах за «чайным столом»...

Летом 1921 года знаменитая американская танцовщица Айседора Дункан по приглашению Советского правительства приехала в Москву, чтобы отдать свой труд, опыт и навыки русским детям.

«Дункан назвали «царицей жестов»,— писал о ней Луначарский,— но из всех ее жестов этот последний — поездка в революционную Россию, вопреки навеянным на нее страхам,— самый красивый и заслуживает наиболее громких аплодисментов».

О жизни и творчестве Айседоры Дункан, бывшей спутником Сергея Есенина в последние годы его жизни, советские читатели знают не много.

Не только чувства, но и родство и общность идей связывали Есенина и Дункан.

«...Что бы там ни писали в буржуазной печати любители сенсаций, какие бы домыслы и догадки ни строили авторы новелл и романов о взаимоотношениях двух знаменитых людей, можно со всей уверенностью сказать, что в их натуре было нечто общее: артистичность, размах, смелость, щедрость души...»[1] — пишет К. Зелинский.

Сразу же после приезда Дункан нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский направил меня для работы с нею, и в течение почти тридцати лет я руководил сначала школой, затем студией и, наконец, Московским театром-студией имени Айседоры Дункан. Благодаря Дункан я познакомился

---

[1] К. Зелинский. Собр. соч. С. Есенина, т. 1, стр. 38, М., Гослитиздат, 1961.

с одним из замечательных русских поэтов-лириков Сергеем Александровичем Есениным.

Я прожил с Айседорой Дункан и Сергеем Есениным в Москве под одной кровлей почти три года, немного путешествовал с ними, сопровождал Дункан в гастрольных поездках, писал либретто для ее новых постановок и организовывал «светомузыку», без которой не проходил ни один ее спектакль. Она делилась со мной своими творческими замыслами. Она постоянно писала и телеграфировала мне из Франции, вплоть до самой смерти.

Так близко Есенина я, конечно, не знал. Я не работал в этой книге над биографией Сергея Есенина, не занимался исследованием его творчества. Я могу лишь рассказать читателю о том, чему был свидетелем. Есенин, о котором я пишу,— это Есенин дома. Из всех своих впечатлений я старался отобрать те, которые, мне кажется, помогают увидеть Есенина — и человека, и поэта: Есенин, читающий в домашней обстановке «Пугачева»; Есенин в мастерской своего друга Коненкова; Есенин за кулисами, наблюдающий за танцующей Айседорой; Есенин, просматривающий свои рукописи перед отъездом в Берлин; Есенин в отношениях с Айседорой; Есенин, беспокоящийся о своих сестрах...

До того, как Дункан и Есенин встретятся на страницах этой книги, необходимо, чтобы читатель узнал об Айседоре Дункан, о ее жизненном пути, о социальных причинах ее тяги в революционную Россию и о первых шагах ее работы в Москве в годы становления Советской власти.



1

Приезд Айседоры Дункан.— «Золотой король» и Дункан.— Первые впечатления.

Кто может предугадать минуту, когда благодаря какому-нибудь незначительному обстоятельству жизнь внезапно делает крутой поворот?

Если бы я вошел минутой позже в свою комнату, где призывно звенел настольный телефон, он бы еще раза два налился звоном и умолк. Я поднял трубку: Флаксерман, секретарь Луначарского, сообщил, что со мной хочет переговорить нарком.

— Мы ожидали Айседору Дункан через три дня,— сказал Луначарский,— а она неожиданно приехала вчера, и ей временно пришлось предоставить комнату в отеле «Савой», сейчас довольно неблагоустроенном и частично даже разрушенном. К тому же там оказались клопы и крысы, и Дункан со своими спутницами ушла ночью из «Савоя» и прогуляла до утра по улицам, осматривая Москву. Нельзя ли, пока мы не подыщем для Дункан другое помещение, временно поселить ее в квартире Екатерины Васильевны Гельцер, уехавшей на гастроли и, как я слышал, поручившей свою квартиру вам?

Я уже направил Флаксермана на вокзал, —продолжал Луначарский ,— где Дункан со своей ученицей Ирмой и камеристкой получают багаж. Вас попрошу поехать на квартиру Гельцер, устроить гостью там и позаботиться о ней первое время.

Чтобы стало понятным, почему Луначарский в день приезда Дункан позвонил мне,— несколько слов о себе.

После революции я работал в отделе печати Наркоминдела, писал рецензии на балетные спектакли и читал в балетной школе лекции по истории и эстетике танца. Стремясь как-то оживить архаические формы балета, организованный в Москве «Вольный театр» объявил конкурс на либретто для одноактного балета. Я написал и сдал в комиссию конкурса либретто балета «Золотой король». Неожиданно для меня оно получило первую премию.

Но постановка не состоялась. Как раз в это время в здании

Московского комитета партии в Леонтьевском переулке был совершен террористический акт — здание было разрушено взрывом. Комитет переехал на Большую Дмитровку, в помещение, предназначавшееся для «Вольного театра».

Немного спустя, в органе Наркомпроса «Вестник театров», который тогда редактировал В. Э. Мейерхольд, появилась статья Луначарского о «Золотом короле».

Луначарский писал: «Не знаю, правильно ли рассчитывает тов. Шнейдер, что либретто полностью подходит под «Поэму экстаза» Скрябина, но само по себе оно превосходно. Тема его как нельзя более проста: это борьба трудящихся масс с золотым кумиром и победа над ним. Оно разработано ярко, живописно, в лучшем смысле этого слова, балетно и феерически... Зрелище, поставленное с настоящим режиссерским искусством, превратило бы этот балет в один из любимейших спектаклей нашего пролетариата, который как в Москве, так и в Петрограде сильно чувствует прелесть балета с его бросающимся в глаза мастерством, с его подкупающей грацией, с его ласкающей красотой».

Но обстоятельства сложились так, что постановка «Золотого короля» так и не состоялась. Как-то, зайдя в дирекцию к всесильному «комиссару театров» Е. К. Малиновской, я попросил вернуть мне либретто.

— У нас есть приказ наркома о постановке этого балета,— ответила Малиновская.

— Мне думается, что эту постановку трудно будет осуществить силами балетной труппы, хотя я и ценю труппу очень высоко,— сказал я.

— Вы должны будете дать расписку в том, что берете либретто по собственному желанию.

Я согласился. Она позвонила и попросила принести рукопись.

Чтобы нарушить неловкое молчание, я попытался продолжить свою мысль:

— Эту постановку надо осуществлять несколько иными силами, да и постановщика я сейчас не вижу. Существует, мне кажется, человек, которому была бы по силам эта тема, но его нет здесь.

— Кто же это такой? — спросила Малиновская.

— Это не «такой», а «такая»: Айседора Дункан.

Малиновская передала наш разговор Луначарскому, и его звонок ко мне в день приезда Дункан не был, вероятно, вызван одной только случайностью.

Позвонив на квартиру Гельцер, я предупредил экономку о прибытии неожиданных гостей и попросил, чтобы приготовили что-нибудь закусить. Пообещали только яичницу. По тем временам и это было роскошно. Я уехал на вокзал. Флаксерман отправился туда на машине Луначарского.

На площади перед Николаевским (ныне — Ленинградским) вокзалом машины Луначарского не было: Флаксерман успел увезти Дункан, пока я дышал воздухом, прилепившись к трамвайному «боку». Вдруг из ворот вокзала выехал воз, и я невольно обратил на него внимание: множество кофров, корзин и чемоданов — метра в два высотою. Я сразу понял, что это и есть «багаж Дункан». Я проехал на Рождественский бульвар. Гости уже были на месте.

Я видел Дункан на сцене давно, еще в 1908 году. Воздушная фигурка в легкой тунике; сцена, декорированная гладкими сукнами и однотонным ковром...

Два слова — «Айседора Дункан» — были для меня синонимами какой-то необычайной женственности, грации, поэзии... А сейчас впечатление было неожиданным: Дункан показалась мне крупной и монументальной, с гордо посаженной царственной головой, облитой красноватой медью густых, гладких, стриженых волос. Одета она была в нечто вроде блестящей кожаной куртки с белым атласным жилетом, отороченным красным кантом. (После того как Дункан, готовившаяся к отъезду в Советскую Россию, заказала себе костюм по этой модели, законодатель парижских мод — Поль Пуаре — пустил модель в оборот под названием «а-ля большевик».)

Я спросил, удовлетворены ли гости квартирой, и объяснил, что Луначарский поручил мне позаботиться на первых порах «о мисс Дункан и ее спутницах».

Дункан поморщилась. Я решил, что ее раздражает мой немецкий «диалект», но через несколько дней узнал, что причина неудовольствия — мое обращение: «Мисс Дункан».

Теперь, когда Айседора пересекла границу социалистического государства, ей претили всякие, даже словесные, атрибуты оставленного «старого мира», ее манило новое созвучие: соединение ее имени со словом «товарищ».

Дункан приехала из Лондона через Ревель (ныне — Таллин) в Петроград.

За границей мало писали (и часто намеренно) о нашей жизни. Истину заменяли подчас невероятные, фантастические слухи. Приняв за истину россказни об уничтожении денежной системы в Советской России, Дункан решила, что слова «то-

варищ» будет достаточно, чтобы извозчик отвез ее без всякой оплаты по нужному ей адресу, и так как у нее не было с собой никаких денег, ей пришлось совершить первый «рейс» в Петрограде пешком. Это ее не обескуражило. Она шла по улицам и с интересом вглядывалась в лица встречных. Был июль 1921 года. Люди были плохо одеты, озабочены. Нет ничего удивительного в том, что Дункан увидела тогда «облик нового мира» только в выражении лиц и глаз красноармейцев, беспрерывно встречавшихся ей на улицах.

В комнату вошла тоненькая девушка в кремового цвета шелковом пеньюаре.

— Это Ирма — единственная из моих учениц, решившаяся ехать со мной в Москву,— представила Айседора.

Она придвинула мне папиросную коробку. На ней была обозначена ничего не говорящая мне тогда фирма: «Фабрика Мери Дести».

Мы закурили.

— Да, нас сильно пугали...— улыбнулась Айседора, как-то неумело затягиваясь сигаретой (курила она немного).— В Париже ко мне пришли бывший русский посол Маклаков и еще Чайковский — однофамилец вашего гениального композитора. Он кто был? — спросила она.

— Глава белого правительства на севере, организованного англичанами после оккупации ими Архангельска.

— Так вот, оба они,— а этот Чайковский даже встал передо мной на колени,— оба умоляли меня не ехать в Россию, так как на границе я и Ирма будем изнасилованы, а если нам и удастся доехать до Петрограда, то там придется есть суп, в котором будут плавать отрубленные человеческие пальцы...

Редакция «Известий ВЦИК» поручила мне небольшую статью о приезде к нам Айседоры Дункан, и мне хотелось услышать от нее если не «декларацию», то какие-то новые и свежие слова, объясняющие социальные причины ее приезда в Советскую Россию. Все дореволюционные писания об Айседоре Дункан, как о «легкокрылой танцовщице-босоножке, задумавшей возродить древнегреческий танец», явно устарели и не годились. Кроме того, хотя со времени войны и революции мы находились в течение семи лет в фактической блокаде, понаслышке мы знали, что Дункан давным-давно эволюционировала от «ангела со скрипкой» к «пластической философии

жизни» в 6-й патетической симфонии и «Славянском марше» Чайковского... Она танцевала целиком 5-ю симфонию Бетховена, 7-ю и «Неоконченную» Шуберта, огромные циклы из произведений Шопена и Листа.

— Я бежала из Европы от искусства, тесно связанного с коммерцией. Кокетливому, грациозному, но аффектированному жесту красивой женщины я предпочитаю движение существа горбатого, но одухотворенного внутренней идеей. Нет такой позы, такого движения или жеста, которые были бы прекрасны сами по себе. Всякое движение будет только тогда прекрасным, когда оно правдиво и искренне выражается. Фраза «красота линий» сама по себе — абсурд. Линия только тогда красива, когда она направлена к прекрасной цели.

Она с увлечением говорила о своих планах: создать в Москве школу, где танец был бы средством художественно-физического воспитания детей — новых людей нового мира, гармонически развитых — физически и духовно.

Сообщение о приезде Айседоры Дункан и эта маленькая ее «декларация» были напечатаны через несколько дней в «Известиях».

Ирма присела за наш стол. Она была среднего роста, хорошо сложена, с прекрасными каштановыми волосами, подстриженными «по-дункановски», с красивыми темными глазами. В общем, она была не только мила, но даже обаятельна. Жанна, камеристка Дункан, без которой Айседора никуда не выезжала, суетилась, выгружая на стол банки с вареньем и мармеладом, плитки шоколада, бисквиты и какие-то маленькие пакетики в пергаментной бумаге. Жанна разрывала их с треском, вынимая белые хлебцы. Я заглянул в огромную корзину, из которой Жанна вытаскивала всю эту снедь...

— Для чего вы везли с собой из-за границы столько хлеба? — обратился я к Дункан.

Она не успела ответить, а Ирма со смешком выпалила:

— У нас еще две такие корзины!

Айседора смущенно объяснила, что хлебцы — диетические, нельзя же ей полнеть... Но заметив недоверчивое выражение моего лица, призналась на своем особом немецком диалекте (владея тремя языками, она иногда вкрапляла в речь французские и английские слова):

— Они все настаивали, чтобы мы взяли с собой побольше хлеба, так как в России его нет.

И вытащив из сумки широкую палочку губной помады,

размашисто провела по губам, не вынимая зеркальца. Потом, вкусно облизнувшись, добавила:

— Ну, а помимо всего, это, действительно, диетический хлеб.

Айседора завешивала тонкими шелковыми шалями розовато-желтой окраски лампы и бра, и без того снабженные абажурами:

— Я не выношу белого света,— объясняла она, осторожно накидывая шали, чтобы не зацепить какую-нибудь статуэтку или вазу из хрупкого фарфора...— Я не способна коллекционировать эти вещи и поклоняться им,— говорила она.— Разница между красивым и прекрасным слишком велика.— И вдруг остановилась перед картиной Тропинина: — А вот это прекрасно. Haben Sie... allumets?[1] — спросила она, опять примешивая к немецкой речи французские слова, и, вынув сигарету, протянула мне коробку.

— Строя новый мир, создавая новых людей, надо бороться с ложным пониманием красоты. Каждая мелочь в быту, в одежде, каждая этикетка на коробке должны воспитывать вкус. Я верю, что здесь, в России, все так и будет. Я приехала сюда для большой работы, и я хочу, чтобы меня здесь поняли. Ведь столько лет во всем мире мне приписывают желание возродить античный танец! Это так неверно! Я работала, изучая античную скульптуру, вазовую живопись и отдельные, зафиксированные в живописи и скульптуре моменты античного танца, но я видела в них лишь непревзойденные образцы естественных и прекрасных движений человека. Мой танец не танец прошлого, это — танец будущего. А каков был танец древних греков в целом — мы ведь не знаем. Музыка их, по-видимому, была примитивной.

Раздался звонок. Приехал Луначарский, с которым Дункан уже виделась днем в Наркомпросе. Мы не стали мешать их беседе и вышли на воздух.

Ирма предложила:

— Пойдемте в «синема».

Был понедельник — все синематографы закрыты. (В Москве в то время было всего несколько кинотеатров.) К счастью, я вспомнил, что именно по понедельникам в просмотровом зале частной прокатной конторы «Тиман и Рейнгардт» демонстрируют киноленты для артистов балета Большого театра.

---

[1] Есть у вас спички?

Мы отправились в Гнездниковский. «Балет»,— преимущественно балетная молодежь и не менее молодая «балетная критика»,— был уже там. Все мы были хорошо знакомы. Я объявил о приезде Дункан и представил Ирму.

«Классический» балет принял представительницу «дункановской школы» вполне гостеприимно.



2

«J am red, red!» ...— Спич во дворце «сахарного короля». — Статья Луначарского.

Когда мы возвратились на Рождественский, Луначарского уже не было. Дункан о чем-то горячо спорила со Станиславским. С ним ее связывали дружба и воспоминания о давнем увлечении...

Я вспомнил, как почти десять лет назад, еще юношей-подростком, я стоял против артистического подъезда во дворе Художественного театра. В ворота въехала, звеня бубенцами, тройка. Тройка остановилась у артистического подъезда. В санях сидели мужчина и чем-то поразившая меня женщина. Они держались за руки, смотрели друг другу в глаза и улыбались: он — смущенно, она — восторженно и как бы удивленно.

Мужчину я знал, это был Станиславский. Тройка стояла. Наконец, они спохватились, быстро поднялись и скрылись в подъезде. Дверь тотчас же снова открылась, и из нее вышли два актера. Один, оглянувшись, сказал:

— Айседора Дункан...

Это имя я знал. В газетах писали о знаменитой «танцовщице-босоножке». На улицах были расклеены большие афиши о гастролях Дункан.

Вскоре после приезда, кажется, дня через три, Дункан получила приглашение на небольшой раут в особняк Наркоминдела. Для этого приема она выбрала туалет, который, вплоть до тюрбана и туфель, был красного цвета.

Когда я спросил, следует ли, отправляясь на первый офи-

циальный вечер, так «подчеркивать» свои революционные убеждения, она, ударяя себя в грудь, воскликнула:

— I am red, red![1]

Несколько лет спустя Айседора во время путешествия вместе с Сергеем Есениным по США, в присутствии 10 тысяч человек, собравшихся на ее концерт в симфоническом павильоне в Бостоне, крикнула со сцены: «I am red, red!»

Публика с галерки, прослышавшая о том, что на предыдущих концертах Дункан танцевала под музыку Интернационала, хлынула в партер, требуя исполнения этого номера. Тут произошел единственный в истории театра случай: распахнулись двери огромного павильона, в партер... въехала конная полиция и начала разгонять публику.

На другой день одна из бостонских газет в сенсационном подробном сообщении о происшедшем «скандале» поместила карикатуру на Дункан в красном плаще и с подписью: «I am red, red!»

...В особняке Наркоминдела, до революции принадлежавшем сахарозаводчику Харитоненко, мебель — золоченая, на тонких ножках. Гобелены. Расписные потолки: маркизы и пастушки. В одной из гостиных молоденькая актриса, аккомпанируя себе на рояле, пела какую-то французскую песенку.

Ей аплодировали и кричали «браво».

Все были хорошо одеты и говорили с Дункан на прекрасном французском языке. Кто-то назвал ее «мадмуазель Дункан».

Она поправила: «Товарищ Дункан» — и поднялась с бокалом в руке:

— Товарищи, спич! Товарищи! Вы совершили революцию. Вы строите новый прекрасный мир, а следовательно, ломаете все старое, ненужное и обветшалое. Ломка должна быть во всем — в образовании, в искусстве, в морали, в быту, в одежде. Вы сумели выкинуть сахарных королей из их дворцов. Но почему же вы сохранили дурной вкус их жилищ? Выбросьте за окно эти пузатые тонконогие кресла и хрупкие золотые стульчики. На всех потолках и картинах у вас живут пастушки и пастушки Ватто. Эта девушка очень мило пела, но во время Французской революции ей отрубили бы голову. Она поет песенки Людовика XVI! Я думала сегодня увидать здесь новое, а вам не хватает только фраков и цилиндров, как всем дипломатам.

Она села. Кто-то пытался объяснить ей действительное положение дел, не совпадающее с ее романтическими представ-

[1] — Я красная, красная! *(англ.)*

лениями о переустройстве общества и с ее революционной экзальтацией, не считающейся ни с трудностью этих реформ и процессов, ни со временем, которого они потребуют.

Айседора вернулась домой расстроенная.

После этого и появилась статья Луначарского «Наша гостья».

После гибели Айседоры Дункан Луначарский писал в своих «Воспоминаниях»: «В центре миросозерцания Айседоры стояла великая ненависть к нынешнему буржуазному быту. Ей казалось, что и нынешняя биржа, и государственная чиновничья служба, и современная фабрично-заводская работа, весь уклад обывательской жизни — все, за исключением некоторых, по ее мнению, оставшихся здоровыми частей деревни, представляет из себя грубый и глупый отход от природы...

Айседоре казалось, что если тело будет сделано легким, грациозным, свободно двигающимся, то это в значительной степени повлияет и на сознание людей и даже на их общественную жизнь. Она утверждала: «Если вы научите человека вполне владеть своим телом, если вы при этом будете упражнять его в выражении высоких чувств, сделаете так, что движение его глаз, головы, рук, туловища, ног будут выражать спокойствие, глубокую мысль, любовь, ласку, дружбу или гордый жест величавого отказа от чего-нибудь презренного, враждебного и т. д., то это отразится воспитывающе на самом его сознании, на его душе».

Она говорила, что человек, привыкший благородно двигаться, не только научается благородно чувствовать, но начинает с величайшим нетерпением сносить окружающее безобразие, устремляется к тому, чтобы соответственно этим движениям одеться, соответственно им устроить свое жилище, у него изменяется отношение ко всем окружающим людям.

Вести о революции, происшедшей в царской России, об огромных перспективах культурной революции, которую политический переворот провозгласил, заставили Айседору резко порвать свои буржуазные связи и, несмотря на всякие предупреждения об опасности такого шага и самого пребывания в Революционной России, несмотря на угрозы репрессиями со стороны капиталистических антрепренеров, она приехала в Москву, в голодную, холодную Москву самых тяжелых годов нашей революции и приступила здесь к работе. Она очень хорошо мирилась с запущенностью и бедностью нашей тогдашней жизни. Она сразу поняла источники этого и старалась быть как можно меньше требовательной по отношению к пра-

вительству. Я боялся, что она будет обескуражена, что у нее руки опустятся. Помощь, которую мы ей давали, была чрезвычайно незначительна. Личную свою жизнь она вела исключительно на привезенные доллары и никогда ни одной копейки от партии и правительства в этом отношении не получала. Это, конечно, не помешало нашей подлейшей реакционной обывательщине называть ее «Дунька-коммунистка» и шипеть о том, что стареющая танцовщица продалась за сходную цену большевикам. Можно ответить только самым глубоким презрением по адресу мелких негодяев.

Нет, Айседора внесла максимум своего пламенного идеализма в основанное ею дело, и сама, наоборот, часто доказывала мне, что, конечно, пройдет несколько очень трудных лет, но что она все-таки сможет вывести свое дело на широкий простор.

К сожалению, по мере того как мы богатели, оценка деятельности Айседоры Дункан не повышалась, а скорее понижалась. Перед нами вставали серьезные задачи в области социальной педагогики, задачи все осложняющиеся. Словом, то, что казалось чуть ли не обязательным в период голодного и холодного революционного энтузиазма, стало казаться нерасчетливым, когда перешли на режим экономии, на плановость и т. д. Тут еще подошел горький роман Айседоры с Есениным. Она уехала из Москвы, оставив школу на попечение своей приемной дочери Ирмы Дункан, но не переставая с болезненной чуткостью следить за этой школой. Незадолго до своей смерти она посетила меня в Париже, расспрашивала о школе, рассказывала об издании своего дневника на русском языке, о великих перспективах найти средства, чтобы подвести под школу серьезную материальную базу и т. д.

Все оказалось не совсем современным. Приди эти более спокойные и более «роскошные» времена, которых мы с несомненностью ждем, скажем, лет так через пять, — на десять-пятнадцать лет раньше, я думаю, что Айседора сыграла бы очень крупную роль не только в эстетической нашей культуре, но шире — в нашей физкультуре вообще».





Воробьевы горы.— Н. И. Подвойский.— Символическое восхождение.

На квартире Гельцер вместо трех дней гости прожили более двух недель.

Днем Дункан терпеливо ожидала моего прихода, чтобы тотчас потащить нас всех на Воробьевы горы — она была непоседой. Ехали обычно на извозчике до Новодевичьего монастыря, потом пешком по каким-то огородам, тянувшимся до Москвы-реки. У перевоза садились в лодку, если она была тут, или кричали лодочнику, вызывая его с другого берега. Перебравшись через реку, бродили по заросшим аллеям и лужайкам Нескучного сада, купались, отдыхали. Потом снова ходили и всё говорили, говорили.

— Я всегда говорю детям, когда учу их,— рассказывала Айседора,— смотрите, как взлетает птица, как порхает бабочка, как ветер колышет ветви деревьев, как он рябит воду. Учитесь движениям у природы. Все, что природно, естественно...

Вечерело. Мы стояли с Айседорой около старой, с колоннами, беседки Нескучного сада, у самой реки. Розовел и золотился Новодевичий монастырь. Айседора медленно переводила взор с него на реку, на наш берег, долго глядела на спускающийся амфитеатром огромный зеленый склон, на самой верхушке которого одиноко высилось большое каменное здание.

— Вот здесь,— сказала Айседора,— среди зелени, должен быть грандиозный массовый театр без стен и без крыши... Вот тут,— показала она,— природная орхестра, площадка древнегреческого театра, на которой будет происходить действо. Вот там,— провела она рукой в сторону зеленого склона,— места для тысяч зрителей.

Она выбрала то самое место, где приблизительно через десять лет построили Зеленый театр...

— А вот там,— показала она в сторону каменного здания на верху склона,— хороший дом для моей школы...

— Товарищ,— позвал меня кто-то,— можно вас на одну минуту?

Я увидел человека в шинели с красными нашивками. Военная фуражка. Бледное узкое лицо. Рыжеватая бородка.

Я подошел к нему.

— Скажите — это Дункан? — спросил он и представился: — Я Подвойский. Переводите, пожалуйста... я бы хотел с ней поговорить.

Подвойский... Это он был в Октябре председателем Петроградского военно-революционного комитета, возглавляя взятие Зимнего дворца!

Я едва успевал переводить. Айседора и Подвойский задавали друг другу множество вопросов, почувствовав единомыслие: Подвойского тоже волновали проблемы массового физического воспитания.

— Все последние годы,— говорила Айседора,— мои мысли были в России, и душа моя была здесь. Приехав сюда, я чувствую, что иду по тем путям, которые ведут в царство всеобщей любви, гармонии, товарищества, братства... Я презираю богатство, лицемерие и те глупые правила и условности, в которых мне приходилось жить. Я хочу учить ваших детей и создавать прекрасные тела с гармонически развитыми душами, которые сумеют проявить себя во всем том, что они будут делать, став взрослыми, в любой своей профессии. Грешно предопределять будущую профессию ребенка, который не может еще ни обсудить ее, ни сделать выбора. Всех детей хочу я учить, но не для того, чтобы делать из них танцовщиц и танцовщиков! Свободный дух может быть только в освобожденном теле, и я хочу раскрепостить эти детские тела. Мои ученики будут обучать других детей, а те, в свою очередь, новых, пока дети всего мира не станут жизнерадостной и прекрасной, гармоничной и танцующей массой. Мы создадим детский интернационал — залог будущего братства всех народов! Я знаю, что я еще слишком невежественна в политике, но я хорошо понимаю, что здесь, у вас, заложено начало тому чуду, которое обновит мир...

Темнело. Подвойский вел нас какими-то одному ему ведомыми тропинками.

— Я считаю,— продолжала Айседора,—что, с тех пор как на земле началось христианство, большевизм является величайшим событием, которое спасет человечество. Но...

И Айседора стала сетовать на то, что, по ее мнению, не во всех еще областях жизни началась перестройка...

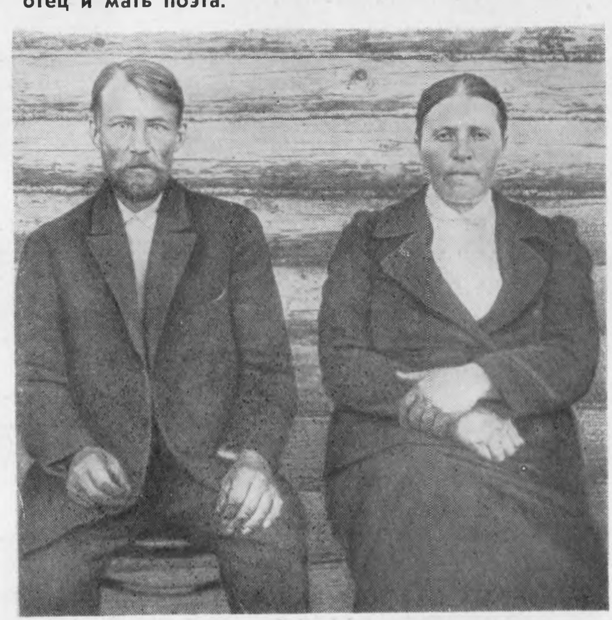


Сергей Есенин и Айседора Дункан (1922 г.).



Федор Андреевич Титов, дед поэта.

Александр Никитич и Татьяна Федоровна Есенины, отец и мать поэта.



Сергей Есенин с матерью (1925 г.).

— Айседора, Айседора,— пытался убедить ее Подвойский,— вы родились на сто лет раньше, чем следовало. Вы слишком рано пришли в этот мир.

— Вы должны,— перебивала его Айседора,— уже сейчас давать своему народу многие радости за все то мученичество, которое переживала Россия.

— Айседора, Айседора,— объяснял Подвойский,— мы еще только рубим глыбы мрамора, а вы уже хотите обтачивать их тонким вашим резцом. Послушайте меня: идите к рабочим, в рабочие районы, в рабочие клубы. Начните заниматься с небольшими группами детей, покажите их родителям-рабочим результаты этих занятий. А после этого открывайте большую школу, и тогда рабочие поведут к вам своих детей. Добейтесь у рабочих признания важности вашего дела, тропинками, через рабочие районы выходите на большую дорогу. А потом, когда вы покажете большой, законченный результат вашей работы, пусть, пусть... тогда Луначарский встанет в очередь за билетом, чтобы посмотреть на это...— засмеялся Подвойский.

Стало совсем темно. Мы взбирались на гору, тропинок уже не было видно, какие-то каменные глыбы и развалины преграждали нам путь.

— Вот,— шутил Подвойский,— такой трудной дорогой вам надо идти к признанию и успеху. Я нарочно повел вас сюда. Это — развалины старого мира: бывший ресторан Крынкина — разгульное заведение старой Москвы, взорванное рабочими. Тропинками, Айседора, через пролетарские районы на большую дорогу!

— Мичательно! — на свой лад, по-русски, произнесла Айседора усвоенное ею за эти дни слово.— Но как мы спустимся отсюда?

Подвойский рассмеялся:

— Это называется — завел... Но найдем средства и спуститься.

Спускаться было не легко...

Вдруг далеко внизу замелькали какие-то огни, послышались голоса. Они все приближались, и, наконец, мы услышали совсем ясно:

— Товарищ Подвойский!.. Товарищ Подвойский!..

— Это Мехоношин,— узнал наш «вожак» и подал голос: — Здесь мы!

(Подвойский в то время был начальником Всевобуча, а Мехоношин — его заместителем.)

Обеспокоенный долгим отсутствием Подвойского, который, оказывается, сегодня впервые поднялся после тяжелой болезни, Механошин обыскал все Воробьевы горы и, узнав от видевших нас прохожих, что мы поднимались к развалинам ресторана Крынкина, вышел искать с несколькими красноармейцами, захватив фонари и веревки.

Начался спуск — фонари и веревки действительно оказались необходимыми. Но Айседора была в восхищении и от знакомства с Подвойским, и от путешествия. Да и сам Подвойский ничуть не был обескуражен и все просил меня:

— Скажите ей, скажите, что препятствия не останавливают, а лишь подхлестывают, и нет препятствий непреодолимых. А ей придется еще столкнуться со многими трудностями, не такими пустячными, как эти. Пусть она не падает духом, пусть не сетует и не удивляется. Ей помогут.

Мы по-прежнему каждый день бывали на Воробьевых горах и всегда встречали Подвойского, временно поселившегося там после болезни. Он был поглощен проектом строительства на Воробьевых горах Красного стадиона.

Однажды Айседора сказала ему, что ей хотелось бы, вместо того чтобы совершать дважды в день длинный путь, пожить здесь некоторое время, пока еще не наступила осень.

Подвойский распорядился предоставить Дункан небольшую пустовавшую дачку, где жила лишь какая-то старушка.

На другой день я перевез обеих Дункан с их Жанной на Воробьевы горы.

Я знал, что Луначарский, которого я информировал о переезде, делает все, что только в его силах, чтобы подыскать помещение для школы и решить другие насущные вопросы.

Позднее, когда Дункан уже переехала в город и томилась в бездействии, Подвойский, встретив нас опять на Воробьевых горах, еще раз предложил Дункан начать работу вместе с ним и, указав рукой на тот самый дом, на верхушке зеленого склона, который когда-то так ей понравился, сказал уверенно:

— Здесь будет ваша школа.

Айседора сразу согласилась.

— Вы, — обратился ко мне Подвойский, — в курсе всех дел, всех ее планов, проектов и нужд. Я думаю, что вы не откажетесь помочь Дункан и мне в нашей работе.

Я, конечно, обещал. Наутро к Дункан явился Механошин и по-военному четко отрапортовал ей, что в здании ее школы

на Воробьевых горах «приступлено к утеплению». Он передал мне мандат на бланке Всевобуча, за подписью Подвойского, назначавшего меня главным уполномоченным по организации школы. Луначарский на предложение Подвойского ответил официальным отношением, где говорилось, что Дункан является гостем Наркомпроса, который и будет ведать организацией всей ее работы в Советской России.

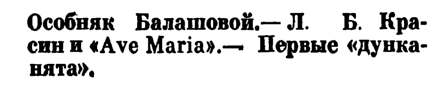
Еще долгие, долгие годы Николай Ильич Подвойский был постоянно связан и с Московской школой имени Айседоры Дункан и с выросшим из нее театром-студией имени Дункан. Он звонил мне, расспрашивал, инструктировал, вызывал меня к себе (жил он очень скромно, с большой семьей в двухкомнатном номере гостиницы «Националь»). Усадив меня на стул, он шагал по комнате и говорил:

— Запишите. Передайте им (Айседоре и Ирме): нам необходимо героическое искусство, показ борьбы, трудностей и достижений. Пусть будет и радостное, но скажите им: «Наше счастье суровое, счастье на костре...»

Я запомнил его слова.

Но мы не знали тогда главного, о чем лишь почти 25 лет спустя, в декабре 1945 года, рассказал Подвойский в своем докладе на Первой всесоюзной конференции по художественной гимнастике для женщин. Когда в 1921 году по докладу Л. Красина обсуждался вопрос, приглашать ли к нам Дункан в такие тяжелые для страны годы, Владимир Ильич Ленин считал, что вопрос должен быть решен положительно. Подвойский рассказал, что Владимир Ильич очень интересовался работой Дункан.





Особняк Балашовой.— Л. Б. Красин и «Ave Maria».— Первые «дунканята».

Наступили дикие холода, я штурмовал Луначарского, пытаясь отвоевать для Дункан комнаты балерины Балашовой в ее особняке на Пречистенке, которые были опечатаны ВЧК после бегства Балашовой за границу. Все остальные помещения в особняке были заняты вначале различными учреждениями — Центропленбежем, МУЗО Наркомпроса и т. д.

Наконец, Луначарский обо всем договорился.

Особняк этот выстроил водочник Смирнов, а затем продал миллионеру Ушкову, мужу балерины Балашовой, которому дом так полюбился, что он построил точно такой же в Казани.

У входа в особняк — две приземистые колонны; в маленькой нише — тяжелая дубовая дверь. В нижнем этаже — вестибюль. У стен две большие и холодные мраморные скамьи. Ни летом, ни зимой присесть на них нельзя и сдвинуть их с места невозможно. Широкая лестница белого мрамора ведет в огражденный мраморной же баллюстрадой верхний вестибюль с колоннами розового дерева.

Помню, после Февральской революции, когда в Большом театре был устроен какой-то благотворительный бал, мне пришлось заехать к Балашовой. Она провела меня по всему особняку, показала даже свою спальню, похожую на небольшой зал и отделенную от будуара маленькой гардеробной.

Этот зал-спальня стал потом комнатой Айседоры Дункан.

Войдя впервые в особняк, Дункан скривила губы при виде потолочных красавиц, облепленных золотом колонн и бронзовых барельефов Наполеона и Жозефины, красовавшихся на всех дверях и карнизах. Бронзовые орлы, будто спугнутые с древков наполеоновских штандартов, настороженно сидели на высоких карнизах.

Войдя в свою комнату, Айседора опустилась в кресло и залилась неудержимым смехом:

— Кадриль! — кричала она, заразительно смеясь.— Changez vos places![1]

Оказалось, что балерина Балашова, бежав из Советской России, приехала в Париж и, в поисках дома, попала на Rue de la Pompe, 103,— в дом, принадлежащий Дункан.

Дом представлял собой обширную, затянутую строгими, в складках, сукнами студию, с несколькими комнатами, ванной и холлом.

Никаких украшений и аляповатостей, гладкие ковры и портьеры, немного хорошей стильной мебели и мраморная ванна — все это никак не удовлетворило бывшую владелицу особняка на Пречистенке, куда теперь, по игре случая, вошла Дункан, также не оценившая «купеческого ампира», который прельщал Балашову.

Айседора завесила шалями лампы и бра в своей комнате, в комнате Ирмы, и «жизнь на Пречистенке» началась.

Появились гости. За неимением стаканов и блюдец, чай подавался в больших стеклянных бокалах. Иностранцы думали, что русские, любящие чаепитие, предпочитают пить этот душистый напиток из винных и пивных бокалов.

Русские, обжигая пальцы, удивлялись неудобным заграничным обычаям...

Айседора скучала. Официальные визитеры постепенно схлынули. Школа уже имела большой обслуживающий персонал в шестьдесят человек и целый «организационный комитет», заседавший то в том, то в другом зале.

Вечером приходили знакомые.

Был среди них австрийский посланник — доктор Поль; впоследствии он покинул свой дипломатический пост и, оставшись в Советской России, возглавил большое издательство на немецком языке, имевшее общеевропейское значение.

Заезжал Луначарский. Однажды, предупредив заранее, приехал Леонид Борисович Красин. Он был большим любителем музыки, ценил искусство Дункан и был одним из горячих сторонников ее приезда из Лондона в Москву. Дункан решила доставить ему удовольствие — станцевать «Ave Maria» Шуберта, которое Красин очень любил.

«Комитет» ежедневно обещал объявить прием детей, но почему-то бесконечно откладывал этот самый важный для Дункан момент, означавший для нее начало работы, к которой она так стремилась.

---

[1] Меняйтесь местами! *(франц).* (Возглас распорядителя танцев в одной из фигур кадрили.)

С тех пор как Луначарский не разрешил Дункан работать в системе Всевобуча, я отстранился от всякого непосредственного участия в организационной работе и лишь по-прежнему поддерживал контакт с самим Луначарским.

Айседора раздражалась:

— Я хочу только «черни хлеб, черни каша», но тысячу детей и большой зал...

Тысяча детей и большой зал — были, конечно, утопией.

В Москве было плохо с топливом. Луначарский мог обещать только небольшую школу с интернатом на 40 детей.

Айседора мрачнела. Я тут же стал убеждать ее, что эта группа станет «фалангой энтузиастов», будущими инструкторами. Айседора согласилась, но от своей мечты не отступилась...

Вечером я пошел в редакцию «Рабочей Москвы», написал там короткую заметку об открытии в Москве школы Айседоры Дункан для обоего пола в возрасте от 4-х до 10-ти лет и примечание: предпочтение при приеме отдается детям рабочих.

В тот же вечер Айседора, Ирма и я, вооружившись молотками, гвоздями и лестницей-стремянкой, повесили небесно-голубые сукна Айседоры в «наполеоновском зале», завесив и Наполеона, и солнце Аустерлица, и затянули паркетный пол гладким голубым ковром.

— Теперь свет, свет! — кричала Айседора.— Эту люстру убрать невозможно! Сколько в ней тонн? Но мы ее преобразуем! Революция так революция! A bas Napoleon![1] Солнца, солнца! Пусть здесь будет теплый солнечный свет, а не этот мертвящий белый! — не успокаивалась она.

Я понимал требовательность Дункан. Ее искусство органически требовало полнейшей гармонии музыки и света. Она, конечно, была далека от технологии светооформления, так же как и от законов физики, она говорила просто о вещах, казавшихся ей само собою разумеющимися.

— Вы ведь не представляете себе, чтобы кто-нибудь танцевал «Ноктюрн» Шопена в красном свете, а «Военный марш» Шуберта — в синем? Вспомните знаменитого слепого у Джона Локка в «Опытах о человеческом разуме». Он представляет себе пурпурный цвет как звук трубы...

Нелюбовь Дункан к мертвому белому свету зиждилась на тяготении ко всему природному, естественному, в том числе и к теплому солнечному свету. Она категорически запрещала, чтобы прожектор «следил» за ее движениями на сцене.

[1] Долой Наполеона! *(франц.)*.

— Солнечные лучи не бегают за человеком,— говорила она.

Я спустил с недействующей люстры одиноко горевшую вместо лампионов и свеч большую лампу, и Айседора затянула ее оранжево-розовой шалью. Зал сразу потеплел. Возле стены поставили маленький электрокамин. Я заслонил его листом синего целлофана, и в волшебном розовом свете засверкал кусок не то синего моря, не то южного неба...

Айседора предупредила «Комитет», чтобы к утру все было готово для записи и осмотра детей. Утром же, едва газета с заметкой попала в руки родителей,— дети появились: множество девочек и несколько мальчиков. «Комитет» недаром так долго корпел над своим «положением о школе»: родители привели детей в «школу танца».

Врач осматривал детей, а мы помогали записывать и давали объяснения родителям. Я смотрел, как Тамары, Люси, Мани, Нины, Юли, Лиды то стояли дичком, то шушукались, то вырывались из рук матерей, чтобы взбежать по широкой лестнице белого мрамора, и не думал, что отныне на долгие, долгие годы я буду свидетелем их жизни, творчества, их счастья, и горечи утрат, любви и успехов, побед в искусстве и поражений...

Итак, школа была создана.



5

Встреча с Есениным.— Есенин читает свои стихи.— Игра в корни.— «Волчья гибель». — Николай Клюев.— С. Т. Коненков.

Однажды меня остановил прямо на улице известный московский театральный художник Георгий Богданович Якулов. Он был популярен, оформлял в те годы премьеры крупных московских театров.

(Якулов — автор проекта памятника 26-ти бакинским комиссарам. Он работал над этим проектом в то время, когда Есенин был в Баку. «Баллада о двадцати шести» посвящена Якулову.)

— У меня в студии сегодня небольшой вечер,— сказал

Якулов,— приезжайте обязательно. И, если возможно, привезите Дункан. Было бы любопытно ввести ее в круг московских художников и поэтов.

Я пообещал. Дункан согласилась сразу.

Студия Якулова помещалась на верхотуре высокого дома, где-то около «Аквариума», на Садовой.

Появление Дункан вызвало мгновенную паузу, а потом — начался невообразимый шум. Явственно слышались только возгласы: «Дункан!»

Якулов сиял.

Вдруг меня чуть не сшиб с ног какой-то человек в светло-сером костюме. Он кричал: «Где Дункан? Где Дункан?»

— Кто это? — спросил я Якулова.

— Есенин...— засмеялся он.

Я несколько раз видал Есенина, но мельком, и сейчас сразу не узнал его.

Немного спустя мы с Якуловым подошли к Айседоре. Она полулежала на софе. Есенин стоял возле нее на коленях, она гладила его по волосам, скандируя:

— За-ла-тая га-ла-ва...

(Это единственный верно описанный Анатолием Мариенгофом эпизод из эпопеи Дункан—Есенин в его нашумевшем «Романе без вранья».) Трудно было поверить, что это первая их встреча, казалось, они знают друг друга давным-давно, так непосредственно вели они себя в тот вечер.

Якулов нас познакомил. Я внимательно смотрел на Есенина. Вопреки пословице — «Дурная слава бежит, а хорошая лежит»,— за ним вперегонки бежали обе славы: слава его стихов, в которых была настоящая большая поэзия, и «слава» о его скандалах и эксцентрических выходках.

Роста он был небольшого, при всем изяществе — в фигуре чувствовалась плотность. Запоминались глаза — синие и как будто смущающиеся. Ничего резкого — ни в чертах лица, ни в выражении глаз.

...Есенин, стоя на коленях и обращаясь к нам, объяснял: «Мне сказали: Дункан в «Эрмитаже». Я полетел туда...»

Айседора вновь погрузила руку в «золото его волос»... Так они «проговорили» весь вечер на разных языках, буквально (Есенин не владел ни одним из иностранных языков), но, кажется, вполне понимая друг друга.

— Он читал мне свои стихи,— говорила мне в тот вечер Айседора,— я ничего не поняла, но я слышу, что это музыка...

Было за полночь. Я спросил Айседору, собирается ли она

домой. Гости расходились. Айседора нехотя поднялась с кушетки. Есенин неотступно следовал за ней. Когда мы вышли на Садовую, было уже совсем светло. Я оглянулся: ни одного извозчика. Вдруг вдали задребезжала пролетка, к счастью, свободная. Айседора опустилась на сиденье, будто в экипаж, запряженный цугом. Есенин сел с нею рядом.

— Очень мило,— поразился я.— А где же я сяду?

Айседора смущенно и виновато взглянула на меня и, улыбаясь, похлопала ладошками по коленям. Я отрицательно покачал головой. Есенин заерзал. Он не знал ни меня, ни того, почему Айседора приехала на вечер со мной, ни того, почему мы уезжаем вместе. Может, в своем неведении даже... приревновал Айседору.

Я пристроился на облучке, почти спиной к извозчику. Есенин затих, не выпуская руки Айседоры. Пролетка тихо протарахтела по Садовым, уже освещенным первыми лучами солнца, потом, за Смоленским — свернула налево и выехала не к Староконюшенному и не к Мертвому, выходящему на Пречистенку, а очутилась около большой церкви, окруженной булыжной мостовой. Ехали мы очень медленно, но моим спутникам это, по-видимому, было совершенно безразлично. Они казались счастливыми и даже не теребили меня просьбами — перевести что-то...

Мне вспоминается сейчас, как много позднее мы ехали с Айседорой в пролетке. Дункан, не выносившая медленной езды, просила меня сказать извозчику, чтобы ехал побыстрее, что я и сделал. Но возница, дернув вожжами, причмокнув и протянув знаменитое «но-оо», успокоился. Айседора снова попросила поторопить его. Вся «процедура» повторилась, с прежним результатом.

— Вы не то говорите ему,— рассердилась Айседора.— Вот Езенин говорит им всегда что-то такое, после чего они сразу едут быстро...

Я попробовал применить все традиционные старые средства понукания извозчиков, он-де — «не кислое молоко везет», и даже поинтересовался, «не крысу ли он удавил на вожжах», но и это не помогло.

— Нет, нет,— объясняла Айседора,— не те слова. Езенин говорит очень энергичное, как при игре в шахматы... Я не могу вспомнить. После этого они сразу гонят лошадей...

Помнится, я все же не рискнул применить этот «лексикон» в присутствии Айседоры.

Но в то первое утро ни Айседора, ни Есенин не обращали никакого внимания на то, что мы уже в который раз объезжаем церковь. Дремлющий извозчик тоже не замечал этого.

— Эй, отец! — тронул я его за плечо.— Ты что, венчаешь нас, что ли? Вокруг церкви, как вокруг аналоя, три раза ездишь.

Есенин встрепенулся и, узнав, в чем дело, радостно рассмеялся.

— Повенчал! — раскачивался он в хохоте, ударяя себя по коленям и поглядывая смеющимися глазами на Айседору.

Она захотела узнать, что произошло, и, когда я объяснил, со счастливой улыбкой протянула:

— Mariage...[1]

Наконец, извозчик выехал Чистым переулком на Пречистенку и остановился у подъезда нашего особняка.

Айседора и Есенин стояли на тротуаре, но не прощались. Айседора глянула на меня виноватыми глазами и просительно произнесла, кивнув на дверь:

— Иля Илич...— ча-ай?

— Чай, конечно, можно организовать,— сказал я, и мы все вошли в дом.

С появлением Есенина на Пречистенке стали бывать поэты-имажинисты. Чаще других — Анатолий Мариенгоф, молодой, высокий и очень красивый мужчина; Вадим Шершеневич, Рюрик Ивнев, Кусиков, Ваня Старцев. Ваня Старцев был совсем молодой, жизнерадостный парень, но отъявленный неряха. Поэты сложили по этому случаю про него и про Есенина частушку:

Ваня ходит неумыт,
А Сережа чистенький.
Потому — Сережа спит
Часто на Пречистенке.

Их было много, этих имажинистов, они вились вокруг Есенина, подобно мошкаре в солнечном луче... Впрочем, не только имажинисты... Бывал, например, некто Гриша Колобов, которого поэты прозвали «Почем-соль»: он служил инспектором Всероссийской эвакуационной комиссии, имел свой салон-вагон. Прибыв на место, первым долгом осведомлялся: «Почем

---

[1] Свадьба *(франц.)*.

соль?» — и, закупив не один мешок, доставлял в своем салон-вагоне в Москву.

Есенин вошел в группу имажинистов еще в 1919 году. Тогда ему казалось, что их роднит близость литературных позиций. А этой пустой и довольно реакционной группке, питавшейся остатками российского декадентства, Есенин был необходим: его имя было хорошей рекламой.

На первых порах имажинисты оказали на Есенина вредное влияние. Но Есенин остался Есениным. «Слово о полку Игореве» — вот откуда, может быть, начало моего имажинизма»,— говорил Есенин Ивану Никаноровичу Розанову.

Впрочем, имажинисты были еще и предприимчивыми «хозяйчиками»: книжная лавка на Никитской, издательства, гастрольные поездки и кафе «Стойло Пегаса» на Тверской — все эти «доходные предприятия» также входили в программу имажинизма.

«Стойло Пегаса» сыграло трагическую роль в жизни Есенина: водку ему там подавали безотказно. А водка действовала на Есенина дурно.

Помню, как много позднее на Пречистенке собрались под вечер гости. Среди них — и поэт Рукавишников, носивший очень длинную козлиную бородку. Ждали Луначарского. Я был занят внизу, в школе, и не поднимался наверх, хотя Айседора уже два раза присылала за мной. Наконец, кто-то прибежал в третий — Айседора срочно зовет меня.

Войдя в комнату Айседоры, я увидел такую картину: на диване с золотыми лебедями сидел в напряженной, воинственной позе Есенин, со злым и решительным выражением лица. Рядом тихо ссутулился Рукавишников. Есенин крепко держал его за козлиную бородку.

— Что же вы не шли? — зашептала Айседора.— Он уже двадцать минут держит его так.

Когда я подошел к дивану, Есенин заулыбался, отпустил Рукавишникова, встал и поздоровался со мной. Вообще он при мне почему-то всегда сдерживался. Никогда я не слышал от него ни одного резкого слова. Айседора этим пользовалась.

— Сергей Александрович! Что вы себе позволяете? — тихо сказал я ему.

— А зачем он стихи пишет? Пусть не пишет,— ответил Есенин.

Но, думаю, дело было не только в плохих стихах, которые писал Рукавишников: «прилипалы» мешали работать.

Через несколько месяцев, в марте 1922 года, в письме

к Р. В. Иванову-Разумнику Есенин писал: «...живу я как-то по-бивуачному, без приюта и без пристанища, потому что домой стали ходить и беспокоить разные бездельники, вплоть до Рукавишникова. Им, видите ли, приятно выпить со мной! Я не знаю даже, как и отделаться от такого головотяпства, а прожигать себя стало совестно и жалко...»

Дружил он, кажется, только с одним Мариенгофом. Жили они вместе в одной комнате, рядом с театром Корша, в Богословском переулке. Вместе щеголяли в новеньких блестящих цилиндрах. Впрочем, эксцентричность эта объяснялась весьма прозаически. Очутившись, уже не помню почему, в Петрограде без шляп, Есенин и Мариенгоф безуспешно обегали магазины. И вдруг обнаружили сиротливо стоящие на пустой полке цилиндры. Один Есенин немедленно водрузил на голову, а Мариенгофу с его аристократическим профилем и «сам бог велел» носить цилиндр.

Вечерами, когда собирались гости, Есенина обычно просили читать стихи. Читал он охотно и чаще всего «Исповедь хулигана» и монолог Хлопуши из поэмы «Пугачев», над которой в то время работал. В интимном кругу читал он негромко, хрипловатым голосом, иногда переходившим в шепот, очень внятный; иногда в его голосе звучала медь. Букву «г» Есенин выговаривал мягко, как «х». Как бы задумавшись и вглядываясь в какие-то, одному ему видные дали, он почти шептал строфу из «Исповеди»:

Бедные, бедные крестьяне!
Вы, наверное, стали некрасивыми,
Так же боитесь бога...

«И болотных недр...» — заканчивал он таинственным шепотом, произнося «о» с какой-то хорошей напевностью.

Со сцены он, наоборот, читал громко, чуть-чуть «окая». В монологе Хлопуши поднимался до трагического пафоса, а заключительные слова поэмы читал на совсем замирающих тонах, голосом, сжатым горловой спазмой:

Дорогие мои... дорогие... хор-рошие...

Он так часто читал монолог Хлопуши, что и сейчас я явственно вижу его и слышу его голос:

Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть!
Что ты? Смерть? Иль исцеленье калекам?

...Брови сошлись, лицо стало серо-белым, мрачно засветились и ушли вглубь глаза. С какой-то поражающей силой и настойчивостью повторялось:

Кто ты? Кто? Мы не знаем тебя!
Что тебе нужно в нашем лагере?

Существующая запись голоса Есенина (монолог Хлопуши из «Пугачева») совершенно не дает полного представления о потрясающем таланте Есенина-чтеца. Слишком несовершенна тогда была техника записи, и Есенина, очевидно, заставили сильно повысить голос.

Много написали и наговорили о Есенине — и творил-то он пьяным, и стихи лились будто бы из-под его пера без помарок, без труда и раздумий...

Он трудился над стихом много, но это не значит, что мучительно долго писал, черкал и перечеркивал строки. Он долго вынашивал стихотворение, вернее, не стихи, а самую мысль. И в голове же стихи складывались в почти законченную форму. Поэтому, наверно, так легко и ложились они потом на бумагу.

Я не помню точно его слов, сказанных по этому поводу, но смысл их был таким: «Пишу, говорят, без помарок... Бывают и помарки. А пишу не пером. Пером только отделываю потом...»

Я не раз видел у Есенина его рукописи, в особенности, когда он собирал и сортировал их перед отъездом в Берлин. Они все были с «помарками». (Он вез в Берлин и беловые автографы, и гранки, и вырезки — «для сборников»).

Разбирая как-то тонкую пачку, в которой был и листок со стихотворением «Не жалею, не зову, не плачу...», тогда уже опубликованным, Есенин, зажав листок между пальцами и потряхивая им, сказал: «О, моя утраченная свежесть!..» — и вдруг дважды повторил: «Это Гоголь, Гоголь!» Потом улыбнулся и больше не сказал ни слова, погрузившись в разборку рукописей. На мою попытку расшифровать его слова — ответил: «Перечитайте «Мертвые души».

Я вспомнил об этом разговоре много лет спустя, наткнувшись во вступлении к 6-й главе «Мертвых душ» на следующие строчки: «...то, что пробудило бы в прежние годы живое движение в лице, смех и неумолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижные уста. О, моя юность! О, моя свежесть!»

Над «Пугачевым» Есенин работал много, долго и очень серьезно. Есенин очень любил своего «Пугачева».

«Пугачевым» Есенин был поглощен. Еще не кончив работу над поэмой, хлопотал об издании отдельной книжкой, бегал и

звонил в издательство и типографию и однажды ворвался на Пречистенку торжествующий, с пачкой только что сброшюрованных тонких книжечек темно-кирпичного цвета, на которых прямыми и толстыми буквами было оттиснуто — «Пугачев». Он тут же сделал на одной из них коротенькую надпись и подарил мне. К сожалению, книга не сохранилась.

Айседоре на экземпляре «Пугачева» Есенин сделал такую дарственную надпись: «За все, за все, за все тебя благодарю я...» (Есенин любил Лермонтова, прекрасно знал его стихи, и такая интерпретация лермонтовской строки не шла от незнания текста.)

В этом же экземпляре Есенин подчеркнул заключительные строки:

...Дорогие мои... дорогие... хор-рошие...

Я только один раз видел Есенина пишущим стихи. Это было днем: он сидел за большим, красного дерева, письменным столом Айседоры, тихий, серьезный, сосредоточенный.

Писал он в тот день «Волчью гибель». Когда я через некоторое время еще раз зашел в комнату, он, без присущих ему порывистых движений, как будто тяжело чем-то нагруженный, поднялся с кресла и, держа листок в руках, предложил послушать...

Между прочим, на одном из заседаний «есенинской группы» Института мировой литературы имени Горького Академии наук СССР, подготавливавшей к изданию полное собрание сочинений С. Есенина в 5-ти томах, возник спор: как читать 17-ю и 18-ю строки этого стихотворения:

Пусть для сердца тягуче колка
Эта песня звериных прав...

Или:

Пусть для сердца тягуче колко.
Это песня звериных прав!..

Остановились на втором варианте. Но я был первым слушателем этого стихотворения в исполнении самого Есенина. Есенин читал: «Пусть для сердца тягуче колка эта песня звериных прав». Однако противопоставить восприятие на слух мнению «есенинской группы», в работе которой я тоже принимал участие, я не мог: текстологических доказательств у меня не было.

Под заглавием «Волчья гибель» стихотворение это было несколько раз опубликовано, но в беловом автографе Есенин вычеркнул название, теперь оно озаглавлено первой строкой: «Мир таинственный, мир мой древний...»

Русский язык Есенин любил страстно, знал многие говоры и наречия, знал и древнеславянский. Он, не задумываясь, мог проспрягать глагол в давно исчезнувших «прошедшем несовершенном» или «совершенном».

— Бях, бяше, бяшеть... Бых, бы, бысть,— смеясь, тарабанил он и тут же добавлял что-то и о канувшем в вечность «двойственном» числе, и об утраченных «счетном» и «местном» падежах, которые хотя и исчезли из грамматики, но остались жить и в литературном языке, и в разговорном.

Есенина возмущали печатные и устные языковые небрежности.

Не случайностью является и то, что Есенин не изучил ни одного иностранного языка.

Как-то в разговоре он сказал мне, что ему «это мешало бы». В одном письме из Америки Есенин писал: «... Кроме русского, никакого другого не признаю и держу себя так, что ежели кому-нибудь любопытно со мной говорить, то пусть учится по-русски».

Он часто затевал игру в «отыскивание» корней. Усаживал поэтов из своей «свиты» и меня в кружок и предлагал называть любые слова. Не успевал кто-нибудь назвать слово, как Есенин буквально «выстреливал» цепочкой слов, «корчуя» корень.

— Стакан! — кричал кто-нибудь из нас...

— Сток — стекать — стакан! — «стрелял» Есенин.

— Есенин! — подзадоривал кто-то.

— Осень — ясень — весень — Есенин! — отвечал он.

Обладая несметными россыпями слов, он в тот период, когда мне привелось общаться с ним, может быть, под влиянием своего имажинистского окружения, бросался иногда на какие-то совсем не нужные ему эксперименты.

Однажды я застал его сидящим на полу, окруженным разбросанными повсюду маленькими, аккуратно нарезанными белыми бумажными квадратиками.

Не поднимаясь, он радостно объявил мне:

— Смотрите! Замечательно получается! Такие неожиданные сочетания!

На обратной стороне бумажек были написаны самые разнообразные, не имеющие никакого отношения друг к другу

слова. Есенин брал по одной бумажке справа и слева, читал их, отбрасывал, брал другие и вдруг вспыхивал, оживлялся, когда какое-нибудь случайное и невероятное сопоставление будоражило его мысль, вызывая метафоры, которые, как он выразился, «никогда не пришли бы сами в голову!»

— Зачем вам это нужно? — удивился я.— Ведь это чистая механика!

Есенин рассмеялся, смешал бумажки и вскочил с пола:

— Я поеду с вами! Вы на извозчике? На Пречистенку? — и быстрыми мелкими шагами устремился по коридору к выходу.

Мне довелось еще раз увидеть эти «квадратики», на которых характерным почерком Есенина (буквы не соединяются и рассыпаны, как зерна) написано: «снег», «огонь», «лист», «осень», «дерево», «горит», «плачет», «жует», «падает», «синий», «розовый», «красный».

На одной из выставок, организованных Литературным музеем, они фигурировали в качестве экспоната, демонстрирующего «метод» поэта. Табличка гласила: «Слова на отдельных листочках бумаги, которые Есенин раскладывал, составляя различные комбинации стихотворных строк».

Честно говоря, это меня огорчило. Ведь игра в «слова» была всего лишь чудачеством, забавой... Серьезнее было раннее увлечение «триптихами богородицы», культ «рогожной», «сермяжной» Руси...

По моему глубокому убеждению, это след влияния на Есенина поэзии Николая Клюева, его «духовного отца» и «наставника» в годы юности.

В 1915—1916 годах в концертах знаменитой исполнительницы русских народных песен Плевицкой появился новый участник. В аккуратной синей поддевке, в смазных сапогах и с подстриженными под скобку волосами, приглаженными растительным маслом, он выходил «первым номером» на эстраду, низко, в пояс кланялся публике, разгибался и, помолчав, говорил, резко «окая»:

— Я не поэт, а мужик.

Это был Николай Клюев. Одна из его книг, «Сосен перезвон», имела успех. Клюева заметил Блок.

Соблазнившись путешествиями, я, не бросая журналистики, несколько лет работал в крупнейшей российской гастрольной организации, возглавляемой очень интересным человеком — В. Н. Афанасьевым. (В свое время он был приговорен царским судом к смертной казни через повешение за революционную

деятельность, но бежал из тюрьмы и жил под чужой фамилией.) Здесь я и столкнулся с Клюевым.

Трудно было разгадать этого «мужика». Он был умен, а «работал под дурачка». Был хитер, а старался казаться простодушным. Был невероятно скуп, а прикидывался добрым. В одной из поездок, когда он на ходу пробирался из вагона в вагон, ветром унесло его шапку. Несмотря на предзимнее время, Клюев до конца поездки так и не купил новой, потому что в Москве у него была вторая.

Вокруг шеи он наматывал шарф необычайной длины. Причем невероятно медленно и методически, и этим почему-то приводил всех нас в бешенство.

Помню, как мы, направляясь из Москвы на концерт Плевицкой во Владимир, сели в новенький вагон III класса — «зеленый»,— в поезде местного сообщения не было ни «желтых», ни «синих».

В купе Клюев начал разматывать свой шарф, предварительно заняв себе «верхнюю полочку» (его выражение) каким-то аккуратненьким деревянным чемоданчиком. Мы нетерпеливо ждали конца этой процедуры, так как собирались играть в карты. На этот раз Клюев разоблачался дольше, чем обычно. Мы готовы были растерзать его. Когда он тщательно сложил его, наконец, наподобие подушки и, осторожно взобравшись на полку, замер,— мы заговорщицки переглянулись и, убедившись, что Клюев мгновенно заснул, стали тут же надевать свои пальто и шляпы, схватили чемоданы и разбудили Клюева:

— Подъезжаем к Владимиру!

А поезд наш, взяв разгон, мчался еще мимо пустых и посеревших подмосковных дач.

Клюев молча и неторопливо начал наматывать в обратном направлении шарф, прихватывая по-кучерски остриженные волосы на затылке. Увидев, что мы открываем дверь купе, заторопился и, протиснувшись вперед, быстро прошел по пустому коридору на площадку, чтобы быть первым и при выходе.

Мы задвинули обратно дверь, разделись и сели за карты. Клюев пробыл на площадке часа полтора. Он давно понял, что его разыграли, но упорно продолжал стоять в тамбуре. Это было, конечно, жестоко с нашей стороны, и Плевицкая ругала нас, но злая шутка пришла нам в голову внезапно и единодушно.

Промерзнув на площадке, Клюев вернулся в купе и, не

глядя на нас, размотал шарф. Затем улегся в прежней позе — «на бочку́» и замер. За всю поездку он не проронил ни слова.

Потом я долго не видел Клюева. Есенин много говорил о нем, читал его стихи и однажды появился на Пречистенке с ним и с Коненковым — высоким, широкоплечим, крепким и моложавым. А Клюев был все тот же: в неизменной поддевке, в русской косоворотке, в сапогах, с теми же промасленными волосами и елейным выражением лица. Только шарф сгинул куда-то, но я уверен: шапка была та, вторая, оставленная в Москве.

Обращался Есенин к этому времени с Клюевым не по-сыновьи, снисходительно и скрыто-враждебно.

Однажды произошел такой случай.

Айседора попросила Клюева почитать стихи. Клюев читал много и охотно. Айседоре, не знавшей русского, стихи понравились своей напевностью.

— Надо,— обратилась она ко мне,— чтобы Клюев преподавал детям русскую литературу.

Я начал ей объяснять, что по наркомпросовским правилам это запрещено. Вдруг Есенин:

— Ни в коем случае не допускайте этого. Вы не знаете политических взглядов Клюева. Да и вообще — это ерунда!

Да и Клюев, хотя и елейничал с Есениным и даже лебезил перед ним, иногда вдруг огрызался. Помню, как после каких-то слов, осуждающих позицию Клюева, Есенин сказал:

— Старо! Об этом уже и собаки не лают! Не съедите нас!

Клюев сначала ощетинился, потом, глянув на Айседору, слащаво улыбнулся и, тыча в сторону Есенина большим пальцем, ядовито пропел:

— В Рязани пироги с глазами, их ядять, а они глядять!

Дункан, конечно, ничего не поняла. (Позднее я встретил эту же фразу, кажется, в одном из писем Клюева к Есенину.)

Есенин рывком поднялся из-за стола. В потемневших глазах его была ненависть. Клюев смиренно остался сидеть. Айседора теребила меня: «О чем они?»

Где-то С. Городецкий писал, что даже у близких Клюеву людей возникали к нему приступы ненависти и что Есенин однажды сказал: «Ей-богу, я пырну ножом Клюева!»

Позднее Есенин писал о своем бывшем учителе:

И Клюев, ладожский дьячок,
Его стихи как телогрейка,
Но я их вслух прочел,
И в клетке сдохла канарейка...

Клюев своеобразно «отомстил» Есенину, создав легенду, которой ввел в заблуждение такого уважаемого и опытного литератора, как Вс. Рождественский.

По словам Клюева, Дункан налила ему из самовара «чаю стакан крепкого-прикрепкого», Клюев «хлебнул», и у него «глаза на лоб полезли». Оказался коньяк... «Вот,— продолжается повествование со слов Клюева,— думаю, ловко! Это они с утра-то, натощак — и из самовара прямо! Что же за обедом делать будут?»

У Дункан никогда не было никакого самовара, за исключением двухведерного, стоявшего внизу в детской ванной.

Позднее, когда Клюев оказался в Вытегре, Есенин получал от него большие письма, написанные «при огарке» карандашом, на длинных узких листочках бумаги, и раза два отправлял ему посылки с продуктами.

Есенин дружил с Коненковым. Они были знакомы еще с 1918 года. Вечерами Есенин иногда тормошил всех:

— Едем на Красную Пресню! Изадора — Коненков!

На Красной Пресне помещалась маленькая студия-мастерская Коненкова, насквозь промороженная, несмотря на две установленные там печи.

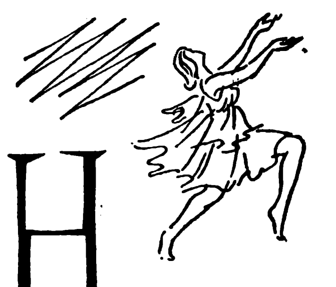
На Красной Пресне нас встречали выточенные из дерева русские Паны — лесные божки с добренькими и проницательными глазками. Коненков представлял их нам, называя «лесовичками». В мастерской лежали пни и чурбаны и пахло свежим деревом и лесом.

Коненков приходил и в студию Айседоры, подолгу смотрел на нее танцующую. Расспрашивал о Родене, с которым Дункан была в большой дружбе. Она рассказывала, как Роден впервые приехал к ней в Париже и она танцевала перед ним. После одного танца Роден поднялся и двинулся к ней, протянув вперед руки с каким-то незрячим взором...

— Я была слишком молода и глупа тогда — я оскорбилась и оттолкнула его!.. Родена! Я так упрекала потом себя за это. Я не должна была отталкивать его.

Коненков выточил из дерева две статуэтки танцующей Айседоры и подарил ей. Она увезла их во Францию. Что случилось с ними после ее гибели, я не знаю. Они были прекрасны.





Надписи на зеркале.— Шестая симфония и «Славянский марш».— Ленин в Большом театре.— «Имажинизм» Айседоры.

На высоком, от пола до потолка, узком зеркале, стоявшем в комнате Айседоры, виднелся нестертый след нашей с Есениным шутки над Айседорой: пучок расходившихся линий, нанесенных кусочком мыла, давал иллюзию разбитого трюмо. Мыло так и осталось лежать на мраморном подоконнике. Однажды Айседора взяла его и неожиданно для нас написала на зеркале по-русски, печатными буквами: «Я лублу Есенин».

Взяв у нее этот мыльный карандашик, Есенин провел под надписью черту и быстро написал: «А я нет».

Айседора отвернулась, печальная. Я взял у Есенина карандашик, который он со злорадной улыбкой продолжал держать в руке, и, подведя новую черту, нарисовал тривиальное сердце, пронзенное стрелой, и подписал: «Это время придет».

Айседора не стирала эти надписи, и они еще долго беззвучно признавались, отвергали и пророчили... И лишь накануне отъезда в Берлин Есенин стер все три фразы и написал: «Я люблю Айседору».

Айседора погрузилась в работу. На занятия ежедневно приходили сто пятьдесят детей. Нужно было отобрать из них сорок... Конечно, мы не оставили своей старой мечты о тысяче детей и большом зале. Подвойский время от времени что-то подыскивал и присылал за нами машину. Однако возвращались разочарованными: залы были холодными.

Полтораста детей, ежедневно ходивших в школу на предварительные занятия, полюбили Айседору, полюбили танцы.

Айседора страдала оттого, что приближалось время, когда ей придется отобрать «сорок энтузиастов». И она продлила уроки, репетируя с детьми «Интернационал», которым она решила закончить свой первый спектакль, назначенный на 7 ноября 1921 года — в день четвертой годовщины Октябрьской революции.

Кроме «Интернационала», Дункан включила в программу «Славянский марш» и 6-ю симфонию Чайковского.

— Шестая симфония — это жизнь человечества! — не раз восклицала Дункан.— На заре своего существования, когда человек стал духовно пробуждаться, он изумленно познавал окружающий мир, его страшили стихии природы, блеск воды, движение светил. Он постигал этот мир, в котором ему предстоит вечная борьба. Как предвестник грядущих страданий человечества, проходит и повторяется в первой части симфонии скорбный лейтмотив... Вторая часть — это весна, любовь, цветение души человечества. Удары сердца ясно слышатся в этой мелодии. Третья часть, скерцо, это борьба, проходящая через всю историю человечества, и, наконец, смерть.

В своем толковании 6-й симфонии Дункан подходила к музыкальному произведению не как музыковед и даже не как публицист; она искала раскрытия образа через свою громадную творческую интуицию, и, может быть, именно поэтому ей часто удавалось воплотить в своем движении такую глубокую сущность композиторского замысла, достигнуть такого слияния с ним, какое трудно дается, даже если идти путем кропотливого исследования отдельных тем, их развития и сплетения.

Одновременно с 6-й симфонией Дункан репетировала «Славянский марш».

Дункан никогда не хотела согласиться с общеизвестной трактовкой «Славянского марша» и не менее известным замыслом Чайковского, написавшего его в память освобождения болгар от турецкого ига Россией.

— Я не верю,— говорила она,— чтобы такой великий человек, как Чайковский, глубоко-философски мыслящий, удовлетворился бы в этом грандиозном произведении только одной этой идеей. Такой человек, как Чайковский, не мог не быть революционером в душе! Он посмеялся над всеми и вложил в этот марш неизмеримо большие мысли, упования, надежды и веру в грядущее освобождение самой России от царизма.

Изумительна сама история создания этого танца. Он возник экспромтом.

Дункан давала концерт в Нью-Йорке, когда пришла весть о революции в России. «Славянский марш» оркестр должен был исполнять один после 6-й симфонии, в которой выступала Айседора.

В антракте она позвала к себе дирижера и сказала ему,

что выйдет сегодня на сцену в «Славянском марше». Тот ужаснулся.

— Как? Без репетиции?

— Мне не нужно его репетировать. Он давно бушует во мне, и сегодня, когда Россия наконец освобождена, он разрывает меня...

7 ноября Большой театр был до того переполнен, что оказались сломанными барьеры, разделявшие ложи.

Из-за множества людей, стремившихся попасть в театр, начало спектакля задерживалось. Даже кулуары были забиты зрителями.

В хлопотах за сценой мы не услыхали, что в театр приехал Ленин. Сорок лет спустя, совсем недавно, газета «Советская культура» напечатала об этом подробное сообщение за подписью Б. Яковлева — «Ленин в Большом театре»[1].

Приведу выдержки из этой статьи:

«В день четвертой годовщины Октябрьской революции — 7 ноября 1921 года,— пишет Б. Яковлев,— Ленин выступает на собрании рабочих, красноармейцев и молодежи Хамовнического района столицы. Отсюда, с Малой Царицынской, как называлась тогда Малая Пироговская улица, Ленин едет на другой конец города — в Старо-Симоновскую слободу, на завод «Электросила». Ныне этот район Москвы именуется Ленинской слободой, а бывшая «Электросила» стала заводом «Динамо».

Установленные биографами Владимира Ильича места его пребывания в столице и области зарегистрированы в книге «Ленин в Москве», подготовленной Институтом истории партии МК и МГК КПСС. Согласно этому справочному пособию 7 ноября 1921 года после выступления на «Электросиле» Владимир Ильич нигде более не появлялся. Никаких дополнительных данных не содержит и указатель «Даты жизни и деятельности В. И. Ленина» в томе 33-м четвертого издания Сочинений.

Есть, однако, еще одно неучтенное свидетельство мемуариста. О том, что вечер 7 ноября Ленин заканчивает в Большом театре, сообщает на страницах газеты «Литературен фронт» полковник болгарской армии Христо Паков. В то время он учился в Первой советской школе военных летчиков. Политический комиссар школы Чуркин вручил ему и курсанту Фрадкину билеты на октябрьский вечер в Большом театре. Но предоставим слово самому Христо Пакову. Вот что он рассказывает:

[1] «Советская культура», 21 апреля 1962 г., № 49 (1385).

«Нам досталось кресло в партере. Вдруг все зрители встали со своих мест и повернулись к расположенной в центре правительственной ложе. Со всех сторон слышалось:

Ильич... Ильич... Ильич...

В ложе, всего лишь в нескольких шагах от нас, показался вместе с Дзержинским и его помощником Менжинским весело улыбающийся Ленин. Он приветственно поднял руку, и весь многоярусный зал встретил его нескончаемыми рукоплесканиями.

На авансцену вышел Луначарский. Он кратко рассказал о творчестве всемирно известной балерины Айседоры Дункан и пояснил содержание предстоящего балета.

Поднялся занавес. Сцена изображала полушарие Земли. В центре лежал закованный цепями раб. Его роль исполняла сама Айседора. Из оркестра чуть слышно доносились первые аккорды, напоминавшие песню русских бурлаков[1]. Под эти звуки балерина мастерски передала страдания измученного оковами раба. Внезапно прозвучала мелодия ненавистного народу гимна «Боже, царя храни...» В то же мгновение в глубине сцены возник страшный двуглавый орел. Он хотел растерзать раба. Царский гимн гремел все громче. Но раб мужественно сопротивлялся. В каждом движении, каждом жесте и выразительной мимике великой артистки отражалось все напряжение неравной борьбы. Но вот под бравурные звуки «Марсельезы» рабу удалось, освободив от цепей одну руку, схватить двуглавого орла. И тогда «Марсельезу» сменил величавый мотив «Интернационала». Раб сбросил остальные цепи. Радостно засияло лицо балерины. Вихрем понеслась она по сцене в ликующем танце Освобождения...

Честно говоря, в то время я неважно разбирался в хореографическом искусстве. К тому же куда чаще, чем на сцену, я смотрел на правительственную ложу. Ведь там — всего-навсего в нескольких метрах от нас — находился Ленин. Ясно видел я его такое проникновенное, выразительное лицо. Передо мной был необыкновенно восприимчивый зритель, чутко откликавшийся на все, что происходило на сцене.

На сцене снова Луначарский. Он объявил, что артистка готова повторить заключительную сцену балета, если зрители исполнят вместе с ней «Интернационал». Публика встретила эту весть с энтузиазмом. И когда Дункан вышла на сцену, все,

---

[1] Христо Паков принял за песню бурлаков «Патетическую симфонию», а «Славянский марш» за «Марсельезу».

не ожидая оркестра, стоя запели «Интернационал». Пел вместе со всеми, кто был в зале, и Владимир Ильич...»

Свидетельство Христо Пакова еще раз подчеркивает интерес В. И. Ленина к искусству Айседоры Дункан. Кстати, о детали, характеризующей силу выразительности ее искусства: никакого двуглавого орла на сцене не было, но болгарский летчик увидел его!

Однажды, узнав, что ее школу собирается посетить Михаил Иванович Калинин, Дункан решила показать ему свою первую работу с русскими детьми, и не только в танцах на музыку классических композиторов. И Дункан «поставила в движении» ряд русских революционных песен. Среди них была и «Варшавянка».

Идея «Варшавянки» в постановке Дункан была в том, что знамя революции подхватывается из рук павших борцов новыми и новыми борцами. Для этой работы Дункан попросила принести небольшой красный флаг.

Я выдернул из никчемных «воротец» балашовской «мавританской» комнаты ореховую палку с круглым набалдашником на конце, делавшим ее похожей на длинный муштабель художников, прикрепил к ней кусок красного шелка и отнес Айседоре в студию, где шел урок с детьми. Палка легкая, но Айседора сказала:

— Не будет ли этот флаг тяжел для детей?

— Что вы говорите! — удивился я.— А как же вы в третьей части Шестой симфонии держите огромное знамя с таким тяжелым древком?..

Айседора молча, долгим взглядом посмотрела на меня и ничего не сказала при детях. Не было никакого древка, не было никакого знамени... Но сила выразительности ее искусства была так велика, что я видел в ее руках тяжелое древко огромного знамени, с силой раздуваемого ветром.

Есенин не пропустил ни одного спектакля Айседоры ни в Москве, ни в Петрограде. И на тот первый спектакль Есенин привел с собой массу друзей. Ему нужны были дополнительные пропуска и места. Он носился в поисках организаторов вечера, и за ним, как хвост кометы, несся поток его друзей и знакомых.

Особенно он любил «Славянский марш», который смотрел иногда не из зрительного зала, а со сцены. Его удивляли речи, которые постоянно произносила Дункан и во время спектакля и по окончании его. Сам Есенин, как известно, ораторским талантом не обладал, хотя стихи свои читал с потрясающей силой. Умение произносить речь без пауз, «эканья» и «меканья» вызывало у него восторг:

— А вы действительно переводите со сцены все, что говорит Изадора, или от себя добавляете? — допытывался у меня как-то после спектакля Есенин, возбужденно улыбаясь и сияя глазами.— Поговорить-то она любит! И как вы запоминаете такие длинные периоды? Язык у вас хорошо подвешен! — удивлялся он, становясь серьезным и тряся меня за плечи своими сильными руками. И вдруг задумавшись, оставил свои руки на моих плечах, потом медленно снял их и сказал: — Вот «Славянский марш»... Изадора ненавидела русскую царщину. Я тоже, всегда... Даже пострадал когда-то за это и угодил в штрафной батальон.

Мы сели около гримировочной Айседоры в ожидании, пока она разгримируется и переоденется, и Есенин рассказал о своем солдатском прошлом. Тогда очень мало было известно о годе, проведенном Есениным в Царском Селе.

В 1916 году Есенина направили служить в «санитарный поезд императрицы Александры Федоровны», с этим поездом Есенин и побывал на фронте. Летом его положили в госпиталь — на операцию аппендицита, а затем, признав не годным к строевой службе, назначили писарем при «Феодоровском государевом соборе» в Царском Селе. Тут и произошло его знакомство с штаб-офицером для поручений при дворцовом коменданте Д. Н. Ломаном. Ломан и организовал чтения перед членами царской фамилии.

Однажды, когда госпиталь в очередной раз должны были посетить дочери царя, Ломан потребовал, чтобы Есенин срочно написал оду в честь этого посещения. Под угрозой отправки в дисциплинарный батальон Есенин написал стихотворение. Но в нем говорилось не о посещении госпиталя царевнами, а о страданиях солдата, умирающего в госпитале от ран.

Это стихотворение «В багровом зареве закат шипуч и пенен» напечатано в 5-м томе собрания сочинений С. А. Есенина. (Подлинник, написанный славянской вязью на листе ватманской бумаги, хранится в архиве Екатерининского дворца в г. Пушкине.)

На стихотворении стоит дата: 22 июля 1916 года.

Как-то Есенин сказал Айседоре:

— Ты — имажинист!

Она поняла, но, подняв на него глаза, недоумевающе спросила:

— Па-чи-му?

— Потому что в твоем искусстве главное — образ!

— Was ist «обрасс»? — повернулась Айседора ко мне.

Я перевел.

Есенин засмеялся, потом попытался объяснить на безглагольном диалекте:

— Изадора! — сказал он, делая рукой резкий отрицательный жест.— Нет образ Мариенгофф! Образ — Изадора! — вытянул он палец в ее сторону.

Она не поняла. Я тоже не мог достаточно ясно объяснить ей есенинскую мысль, да и многого не знал еще, хотя бы тех слов Есенина об имажинистах из его статьи «Быт и искусство»:

«...Собратья мои увлеклись зрительной фигуральностью словесной формы, им кажется, что слово и образ это уже все...»

А тогда Есенин смотрел на Айседору смеющимися глазами.

— Мне-то хоть поясните, Сергей Алесандрович,— обратился я к Есенину,— а я Айседоре.

Он махнул рукой.

— Надоело до черта! В другой раз... Ну их! — и тут же, остановив на Дункан задумчивый взгляд, еще раз повторил:

— Ты — имажинист. Но хороший. Понимаешь?

Она кивнула головой.

— Ты — Revolution![1] Понимаешь?

Этот разговор происходил незадолго до отъезда Есенина и Дункан за границу.

7



3 декабря 1921 года.— Есенин и Дункан в Петрограде.— Выступление перед моряками «Авроры».

В тот день, когда нужно было отобрать 40 детей из всех ходивших на предварительные занятия, Айседора с тяжелой душой пошла в «голубой зал».

Ей дали пачку красных и зеленых билетиков. Красных биле-

[1] Революция! *(англ.)*.

тиков было сорок. Урок начался, как обычно, с тихого шага под медленный марш Шуберта.

— Up! Up! — кричала Айседора. — Stop, Manja! What are You doing with your hands?[1] — обращалась она к хорошенькой, светловолосой девочке с темными глазами.

И снова слышалось:

— Up! Up!

Время от времени Айседора подзывала к себе кого-нибудь из детей и давала им красный или зеленый билетик, после чего они убегали в соседнюю комнату, где их соответственно распределяли «руководительницы».

— От этих билетиков мне еще тяжелее, — жаловалась Дункан, — они с такой радостью схватывают и зеленые и красные!

Наконец, 3 декабря 1921 года отбор был окончен.

3 декабря стало днем школы. Годовщина эта отмечалась нами, где бы мы в это время ни находились.

Сорок детей уже жили в школе, но сама школа еще не существовала. Распорядок дня, выработанный Дункан, соблюдался плохо. Общее образование, предусмотренное тогда в размере семилетки, велось сумбурно. Среди набранных преподавательниц — «руководительниц» — только две были с педагогическим опытом и знакомы с практикой новой школы. Но и «практика» эта тоже была сомнительной, так как и в эти годы и в последующие общее образование скакало с «Дальтон-плана» на «комплекс», и от всех этих систем было мало пользы. «Организационный комитет» не мог наладить даже быт, хотя персонала было в полтора раза больше, чем детей.

В школе стоял невообразимый шум и гам.

— Дети приходят на урок танца, — расстраивалась Дункан, — какими-то «расплесканными», несосредоточенными. В таком состоянии они не могут слушать музыку так, как это нужно.

Дней через десять после открытия школы, как-то вечером, к Дункан приехал Луначарский. В их разговоре, происходившем в комнате Айседоры, принимали участие Ирма и я. Дункан сказала, что ей очень трудно работать, многого не хватает, до сих пор нет директора. Луначарский заметил, что о кандидатуре придется серьезно подумать, так как нужен человек, который был бы не только организатором, но и близко стоял

[1] Вверх! Вверх! Стой, Маня! Что ты делаешь со своими руками? (*англ.*).

к искусству и понимал целевую установку такой школы и самую идею Дункан.

— Вот директор! — вдруг сказала Айседора, указав на меня.

Я удивился: Дункан знала, что школе нужно посвятить все свое время, а я не хочу расстаться ни с театром, ни с журналистикой. Да и школьной работы я не знал.

— Ну, что же,— сказал Луначарский,— я товарища Шнейдера хорошо знаю, но...

Он наклонился к Айседоре, и я услышал обрывок его фразы: «...mais c'est un jeune homme...»[1] Потом все же сказал:

— Сегодня что? Понедельник? Ну вот, в среду приезжайте ко мне в Наркомпрос, мы все практически решим, я подпишу необходимые распоряжения, а завтра дам приказ о вашем назначении...

Есенин бывал каждый день. Айседора стала домоседкой, предпочитая общество одного Есенина, потому что когда появлялись гости — появлялось вино, и Есенин становился трудным. Правда, Айседора, разменяв чек на несколько фунтов, случайно оставшихся на ее счету в лондонском банке, сама покупала шампанское. Шампанским она хотела вытеснить водку.

Дункан постоянно повторяла, что она «бежала из Европы от искусства, тесно связанного с коммерцией», и категорически отказывалась от платных выступлений. Я, по ее настойчивому желанию, отклонял все поступавшие предложения. Но Луначарский все же убедил ее не лишать зрителей возможности видеть ее спектакли на условиях, принятых по всей стране для театральных мероприятий.

Дункан сдалась, и мы объявили в филиале Большого театра четыре ее выступления с симфоническим оркестром, после которых сейчас же поступило приглашение приехать на несколько спектаклей в Петроград.

В начале февраля, оставив Ирму со школой, Айседора, я и Жанна поехали на Николаевский вокзал. Есенин провожал нас. Точного расписания отправления поездов не было. Билеты не продавались, а бронировались бесплатно по заявкам. У меня была бронь на два двухместных купе в международном вагоне.

Усадив Жанну в зале ожидания, мы втроем заняли столик в буфете. Поговаривали, что поезд отправится лишь в 12 часов ночи, а может, и в два. Айседора была счастлива: еще не

---

[1] ...но это же молодой человек... *(франц.)*.

сейчас расставаться с Есениным! Они радовались этому, казалось бы, томительному часу в холодном ресторанном зале. Вина в продаже не было, но у нас была с собой пара бутылок. Все мы были тепло одеты и, разогретые горячей беседой и вином, не заметили, что давно уже наступила глубокая ночь. Пухленькая Жанна безмятежно спала на вещах и, должно быть, гуляла во сне по Булонскому лесу, Есенин тщетно выжимал влагу из опустевших «нелегальных» бутылок. Айседора, взяв у меня записную книжку, с увлечением чертила, объясняя Есенину роль хора в древнегреческом театре. Смелой линией нарисовав полукруг амфитеатра, она замкнула «орхестру» и, поставив в центре ее черный кружок, написала под ним: «Поэт». Затем быстро провела от точки множество расходящихся лучей, направленных к зрителям.

— Мы будем выступать вместе! — говорила она Есенину.— Ты один заменишь древнегреческий хор. Слово поэта и танец создадут такое гармоническое зрелище, что мы... Wir werden dem ganzen Welt beherrschen![1] — рассмеялась Айседора. Потом вдруг наклонилась ко мне и умоляющим голосом тихо сказала: — Уговорите Езенин ехать вместе с нами в Петроград...

— Да его и не надо уговаривать. Сергей Александрович, хотите в Петроград?

Он радостно закивал головой, обращаясь к Айседоре:

— Изадора! Ти... я... Изадора — Езенин — Петроград!

Настроение поднялось. Айседора принялась рисовать шаржи на себя и на Есенина. Эта книжка долго хранилась у меня. Двумя-тремя линиями Айседора набрасывала человечков, изображая себя и Есенина. Есенин весело смеялся.

В Петрограде мы остановились в гостинице «Англетер», принадлежавшей «Интуристу». Приехали мы только к вечеру и, утомленные дорогой, легли спать.

В номерах было холодно. Несколько раз в день либо я, либо Есенин взбирались в их номере на письменный стол и щупали рукой верхушку трубы отопления, спускавшейся по стене. Внизу она была совершенно холодной.

Наконец, я вызвал в комнату директора гостиницы и попросил другую комнату.

Дункан и Есенин покинули комнату номер 5 — ту самую комнату, где почти четыре года спустя Есенин покончил с жизнью.

---

[1] — Мы покорим весь мир! *(нем.)*.

Зимой 1905 года Айседора Дункан впервые приехала на гастроли в Россию. Поезд пришел на рассвете, сильно опоздав из-за снежных заносов. Ее везли по темным и затихшим петербургским улицам на высоких и узких санках «лихача», прикрытых меховой полстью. Вдруг навстречу из темноты — нескончаемая процессия гробов, которые молча несли на руках и везли на санях суровые люди.

— Что это? — с ужасом спросила Дункан.

Ей объяснили. Дункан приехала в Петербург в ночь с 9 на 10 января 1905 года, после «кровавого воскресенья» и расстрела у Зимнего дворца.

— Это страшное шествие оставило во мне след на всю жизнь и направило ее по истинному пути...— не раз повторяла потом Дункан.

Петроград 1921 года ожидал первого выступления Айседоры Дункан с острым интересом. Балетный мир и русские последовательницы школы Дункан, так называемые — «пластички», к которым Дункан относилась с нескрываемым раздражением, предпочитая им даже классическую школу танца, проявляли нетерпение.

Но не балетный мир, переполнивший ложи бывшего Мариинского театра на первом спектакле Дункан, волновал ее. Основная масса зрителей этого огромного театра состояла из моряков «Авроры» и петроградских рабочих — творцов Октябрьской революции.

Еще больше, чем Дункан, волновался я. Дункан требовала, чтобы во вступительном слове я рассказал и об идее ее школы, и о глубоких причинах неудач с ее школами в Европе, и о социальных корнях ее тяги в Советскую Россию, и о перспективах ее работы здесь, и об ее творческих устремлениях.

— Но ведь на это надо полчаса! — встревоженно доказывал я Айседоре.

— Даже больше, если нужно,— отвечала она.

— Но меня и слушать не захотят. Они пришли смотреть ваш спектакль, а не слушать мои речи!

— Эти люди,— перебила меня Дункан,— хотят и имеют право знать многое. Когда я приезжала в Петербург в годы царизма, их не пускали в театры. Их боялись, их, от страха перед грядущим, убивали на улицах! Я приехала в Россию ради этих зрителей. Неужели они не захотят узнать, зачем я здесь? Я сама дрожу сейчас, как дебютантка!

В гримировальную вошел Есенин. Ему нужен был для кого-то пропуск. Айседора прильнула к нему. Он одобряюще по-

хлопал ее по плечу, испачкав руку в пудре, улыбнулся и «благословил» меня на выход. Я выписал пропуск и вышел на просцениум.

Аудитория была очень внимательна, и это поддержало меня. Я представил Дункан.

Зал принимал Дункан громовым рукоплесканием. И восторженно гудел после каждой части 6-й симфонии. Вдруг, уже во второй половине, сцена медленно погрузилась во мрак. Оркестр, медленно теряя звучание, остановился. В зале зачиркали спичками. Я вынес на сцену «Летучую мышь» и, поставив фонарь у рампы, едва осветил Дункан, неподвижно стоявшую в центре огромной сцены. Потом попросил зрителей не зажигать огня и дождаться исправления повреждения электросети.

Наступила полная тишина. Не верилось, что в театре такое множество людей. Пламя в фонаре чуть-чуть потрескивало, бросая слабые отсветы на застывшую фигуру Дункан, в которой, по-видимому, продолжала мучительно звучать оборвавшаяся музыка симфонии.

Свет не зажигался. На сцене было прохладно. Я взял красный плащ Айседоры и набросил ей на плечи. Дункан поправила плащ, приблизилась к фонарю, горевшему красноватым светом, и подняла его высоко над головой. В красном плаще, с призывно поднятой головой и со светочем в руке, она выглядела каким-то революционным символом. Зал ответил грохотом аплодисментов. Дункан выжидала, когда все утихнет. Потом сделала шаг вперед и обернулась. Я понял и подошел.

— Товарищи! — сказала она.— Прошу вас спеть ваши народные песни.

И зал, огромный, переполненный зал, запел. Без дирижера, без аккомпанемента, в темноте, поразительно соблюдая темпы, нюансы и стройность, пел одну за другой русские народные песни.

Дункан так и стояла с высоко поднятым над головой огнем, и вытянутая рука ни на мгновение не дрогнула, хотя я видел, что это стоит ей огромного напряжения воли и великого физического усилия.

— Если бы я опустила тогда руку,— объяснила она потом,— прервалось бы и пение, и все невыразимое очарование его. Это было так прекрасно, что никакие самые знаменитые капеллы не выдержали бы сравнения с этим вдохновенным пением!

Так продолжалось около часа. Дункан не опускала руки, и зал пел снова и снова. Уже прозвучали «Варшавянка», «Смело, товарищи, в ногу...»

— Есть еще одна ваша песня, которую я один раз слышала,— сказала Дункан во время короткой паузы.— Это печальная песня, но она говорит о заре новой жизни. В финале заря занимается, и песня звучит грозной силой и верой в победу. Прошу вас спеть эту песню.

Едва я перевел эти слова, как, словно по взмаху руки невидимого дирижера, совсем пианиссимо возникли напев и слова:

Замучен тяжелой неволей,
Ты славною смертью почил.
В борьбе за народное дело
Ты голову честно сложил...

Песня нарастала, звучала все громче и громче, наливалась неслыханной мощью. По лицу Дункан катились слезы...

И вдруг, когда необычайный хор гремел заключительными словами:

Но знаем, как знал ты, родимый,
Что скоро из наших костей
Поднимется мститель суровый
И будет он нас посильней! —

в хрустальных бра и люстрах зала, в прожекторах и софитах стал теплеть, разжигаться свет. Красноватый, потом желтый, солнечный и, наконец, ослепительно-белый затопил потоками громадный театр и гигантский хор, который вместе со светом медленно поднимался со своих мест, потрясая зал последним рефреном:

Бу-дет по-силь-ней!

Одновременно взметнулся красный плащ Дункан — и медленно пошел вниз занавес.

Ни один режиссер не мог бы так блестяще-театрально поставить эту сцену...

Сергей Есенин
с группой работников
типографии Сытина
(1914 г.).

Сергей Есенин
на военной службе
(1915 г.).



Сергей Есенин и Николай Клюев (1915 г.).



8

«Неожиданности» Есенина.— Дункан и Есенин в загсе.— Голубой блокнот.

На письменном столе Айседоры лежали «Эмиль» Жан-Жака Руссо в ярко-желтой обложке и крохотный томик «Мыслей» Платона. Томик этот она часто брала в руки и, почитав, надолго задумывалась.

Однажды я видел, как Айседора Дункан, сидя с книжкой на своей кровати, отложила ее и, нагнувшись к полу, чтобы надеть туфлю, подняла руку и погрозила кулаком трем ангелам со скрипками, смотревшим на нее с картины, висевшей на стене.

Впрочем, может быть, этот жест имел свою причину: Айседора утверждала, что один из трех ангелов — вылитый Есенин. Действительно, сходство было большое.

А Есенин, сидя один в комнате Айседоры, за ее письменным столом, в странном раздумье, подул несколько раз на огонь настольной лампы и, зло щелкнув пальцем по стеклянной груше, погасил ее.

С Есениным иногда было трудно, тяжело.

Вспоминаю, как той, первой их весной я услышал дробный цокот копыт, замерший у подъезда нашего особняка, и, подойдя к окну, увидел Айседору, подъехавшую на извозчичьей пролетке.

Дункан, увидев меня, приветливо взмахнула рукой, в которой что-то блеснуло. Взлетев по двум маршам мраморной лестницы, остановилась передо мной все такая же сияющая и радостно-взволнованная:

— Смотрите,— она вытянула руку, на ладони заблестели золотом большие мужские часы.

— Для Езенин! Он будет так рад, что у него есть теперь часы!

Айседора придала ножницами круглую форму своей маленькой фотографии и. открыв заднюю крышку пухлых золотых часов, вставила туда карточку.

Есенин был в восторге (у него никогда не было часов).

Беспрестанно открывал их, клал обратно в карман и вынимал снова, по-детски радуясь.

— Посмотрим,— говорил он, вытаскивая часы из карманчика,— который теперь час? — и удовлетворившись, с треском захлопывал крышку, а потом, закусив губу и запустив ноготь под заднюю крышку, приоткрывал ее, шутливо шепча:

— А тут кто?

А через несколько дней, возвратившись как-то домой из Наркомпроса, я вошел в комнату Дункан в ту секунду, когда на моих глазах эти часы, вспыхнув золотом, с треском разбились на части.

Айседора, побледневшая и сразу осунувшаяся, печально смотрела на остатки часов и свою фотографию, выскочившую из укатившегося золотого кружка.

Есенин никак не мог успокоиться, озираясь вокруг и крутясь на месте. На этот раз и мой приход не подействовал. Я пронес его в ванную, опустил перед умывальником, открыл душ. Потом хорошенько вытер ему голову и, отбросив полотенце, увидел улыбающееся лицо и совсем синие, но ничуть не смущенные глаза.

— Вот какая чертовщина...— сказал он, расчесывая пальцами волосы,— как скверно вышло... А где Изадора?

Мы вошли к ней. Она сидела в прежней позе, остановив взгляд на белом циферблате, докатившемся до ее ног. Неподалеку лежала и ее фотография. Есенин рванулся вперед, поднял карточку и приник к Айседоре. Она опустила руку на его голову с еще влажными волосами.

— Холодной водой? — она подняла на меня испуганные глаза.— Он не простудится?

Ни он, ни она не смогли вспомнить и рассказать мне, с чего началось и чем, помимо водки, была вызвана вспышка Есенина.

Ехать «в Персию» Есенин собрался тоже внезапно, без всяких сборов. Айседора слегла. Несколько дней она не поднималась с постели, а последние два дня не хотела ни есть, ни пить.

Поздно вечером я вошел в ее огромную комнату. Было темно. Только на столике у кровати горела настольная лампа.

— Вот здесь,— показала Айседора на низкую никелированную спинку кровати,— здесь сейчас стоял Езенин.

— Конечно,— постарался самым спокойным тоном объяснить я,— если и дальше вы не будете ни есть, ни пить, то

у вас появятся не только зрительные, но и слуховые галлюцинации...

И вдруг сам совершенно явственно услышал голос Есенина, произнесший мое имя. Голос звучал где-то за «восточной» комнатой. Пробежав ее и розовую атласную, я увидел в амбразуре арки темного «голубого зала» что-то белое, двигавшееся прямо на меня...

Думайте обо мне что хотите, но в это мгновение мною овладел страх.

— Илья Ильич! — заорало это белое, и я уткнулся прямо в живот Есенина. Он был в распахнутом пиджаке и в белой рубашке.

— Живой, живой! — кричал он.

Оказалось: «Почем-соль» ехал в своем вагоне в Ростов-на-Дону и согласился взять с собой Есенина (может, втайне рассчитывал на него при погрузке мешков с солью). «Ростов — это Северный Кавказ, а следовательно — почти Закавказье, а там и до Персии рукой подать»,— так, очевидно, рассуждал Есенин, всегда почему-то стремившийся на родину Омара Хайяма и Гафиза.

В Ростове, пока «Почем-соль» управлялся с солью и кое-какими поручениями комиссии, Есенин поссорился с ним и методически перебил одно за другим все стекла «салон-вагона»[1]. После этого «Почем-соль» отправил его в Москву, к великому счастью Айседоры.

Один раз кто-то спросил меня, чего было больше в самоубийстве Есенина — страха перед жизнью или храбрости перед смертью? Есенин от природы был человеком, что называется, «не робкого десятка».

Однажды произошло следующее.

В бывшем балашовском особняке стали происходить какие-то таинственные истории. Ночью в дом проникали неведомыми путями неизвестные люди с потайными фонарями. При малейшей тревоге таинственные посетители мгновенно исчезали. Мы установили наблюдение, но однажды дело приняло очень серьезный оборот: открыв отмычкой дверь, бандиты через подсобную лестницу проникли в спальню детей.

Одна девочка проснулась.

— Молчи! — зашипел на нее бандит и погрозил издали

---

[1] Впоследствии, весной 1923 года, Есенин писал из Парижа А. Мариенгофу: «...после скандалов (я бил Европу и Америку, как Гришкин вагон) хочется опять к тишине...».

ножом. Но она от страха громко закричала и, соскочив с кровати, стрелой пронеслась мимо налетчиков к выходу. Поднялся многоголосый крик.

Есенин, все мы и кто-то из гостей бросились обследовать дом. Внизу, около большой мраморной лестницы, был маленький кабинетик, где я принимал родителей. В одном углу была низкая дверца, через которую, сильно согнувшись, можно было пролезть в темную кладовку под лестницей. Кладовка имела вторую такую же дверцу, выходившую в коридор около детской столовой. Не знаю почему, эту кладовку в школе называли «котомазкой».

Вот около этой «котомазки» и собрались все мы, предводительствуемые Есениным. Открыли дверцу, я чиркнул спичкой, и вдруг в самом темном углу что-то зашевелилось. Я зажег сразу несколько спичек. Есенин так дернулся вперед, что спички погасли, но он бесстрашно пролез в дверцу, крича и размахивая поленом:

— Выходи, выходи! Нечего теперь уж! Попался!

Фигура закопошилась, покорно полезла прямо на Есенина, и тут все увидели нашего швейцара Павла Васильевича. Он жил где-то далеко на окраине и не пошел домой, решив переночевать в «котомазке».

Случай, конечно, комический, но, очутись на месте Павла Васильевича один из бандитов, Есенин мог бы получить удар ножом.

Через некоторое время за деревянной панелью в стене детской спальной мы обнаружили выдолбленную пустую дыру. Там Балашова, очевидно, прятала свои драгоценности. Об этом, по-видимому, знал кто-то из ее «дворни». Мы заявили в милицию, и вскоре выяснилось, что вожаком «искателей кладов» был бывший управляющий балашовским домом, проживавший по соседству. Его арестовали. Ночные визиты прекратились.

Вскоре после этого случая Есенин принес купленный где-то великолепный «нож для харакири» — зеркально блестевший немного выгнутым клинком. На больших ножнах были еще маленькие — с острым и тонким стилетом внутри.

— Большим ножом,— объяснял Есенин,— японцы, кончая жизнь самоубийством, вскрывают себе живот, и когда кишки вываливаются, они перерезают маленьким кинжальчиком последнюю кишку... Какое самообладание и изуверство! — добавлял он.

И вскоре охладел к ножу, ему неприятно было видеть его, он все запрятывал куда-то этот нож.

Айседора вошла ко мне, держа листок бумаги с текстом телеграммы. Это была телеграмма известному американскому импрессарио Юроку, постоянному организатору гастролей Айседоры Дункан.

Телеграмма гласила:

«Можете ли организовать мои спектакли, участием моей ученицы Ирмы, двадцати восхитительных русских детей и моего мужа, знаменитого русского поэта Сергея Есенина. Телеграфируйте немедленно. Айседора Дункан».

Пришел ответ из Нью-Йорка:

«Интересуюсь, телеграфируйте условия и начало турне. Юрок».

Советское правительство дало согласие на выезд школы, и Дункан стала деятельно готовиться и к первому показательному спектаклю ее школы в Москве и к своему отъезду за границу, намереваясь провести там, до приезда школы, большую предварительную работу.

Айседора и Есенин решили закрепить свой брак по советским законам, тем более что им предстояла поездка в Америку, а Айседора хорошо знала повадки тамошней «полиции нравов», да и Есенин знал о том, что произошло в Соединенных Штатах с М. Ф. Андреевой и А. М. Горьким,— только потому, что они не были «повенчаны».

Ранним солнечным утром мы втроем отправились в загс Хамовнического Совета, расположенный по соседству с нами в одном из пречистенских переулков.

Загс был сереньким и канцелярским. Когда их спросили, какую фамилию они выбирают, оба пожелали носить двойную фамилию — «Дункан-Есенин». Так и записали в брачном свидетельстве, и в их паспортах. У Дункан не было с собой даже ее американского паспорта — она и в Советскую Россию отправилась, имея на руках какую-то французскую «филькину грамоту». На последней странице этой книжечки была маленькая фотография Айседоры, необыкновенно там красивой, с глазами живыми, полными влажного блеска и какой-то проникновенности. Эту книжечку вместе с письмами Есенина я передал весной 1940 года в Литературный музей.

— Теперь я — «Дункан»! — кричал Есенин, когда мы вышли из загса на улицу.

Накануне Айседора смущенно подошла ко мне, держа в руках свой французский «паспорт»:

— Не можете ли вы немножко тут исправить? — еще более смущаясь, попросила она.

Я не понял. Тогда она коснулась пальцем цифры с годом своего рождения. Я рассмеялся — передо мной стояла Айседора, такая красивая, стройная, похудевшая и помолодевшая, намного лучше той Айседоры Дункан, которую я впервые, около года назад, увидел в квартире Гельцер.

Но она стояла передо мной, смущенно улыбаясь и закрывая пальцем цифру с годом своего рождения, выписанную черной тушью...

— Ну, тушь у меня есть...— сказал я, делая вид, что не замечаю ее смущения.— Но, по-моему, это вам и не нужно.

— Это для Езенин,— ответила она.— Мы с ним не чувствуем этих пятнадцати лет разницы, но она тут написана... и мы завтра дадим наши паспорта в чужие руки... Ему, может быть, будет неприятно... Паспорт же мне вскоре не будет нужен. Я получу другой.

Я исправил цифру.

Насколько быстро были выполнены все паспортные формальности советскими учреждениями, настолько долго тянули с визами посольства тех стран, над которыми Дункан и Есенину предстояло пролететь.

Отлет с московского аэродрома был назначен на ранний утренний час. Все дети хотели проводить Айседору, и я обратился в Коминтерн, владевший единственным тогда в Москве автобусом, с просьбой предоставить его нам. Это большой красный автобус английской фирмы «Лейланд». (Нам потом не раз давали его для прогулок по городу. Это были, так сказать, «агитпоездки». Дети были одеты в особую форму, на борту автобуса лозунг: «Свободный дух может быть только в освобожденном теле!» Надпись: «Школа Дункан».)

Есенин летел впервые и заметно волновался. Дункан предусмотрительно приготовила корзинку с лимонами и двумя бутылками шампанского:

— Его может укачать, если же он будет сосать лимон и выпьет шампанского, с ним ничего не случится.

— При «болтанке» шампанское может дать только обратный результат,— возражал я, но она уверяла, что всегда объединяет в полете эти два средства.

В те годы на воздушных пассажиров надевали специальные брезентовые костюмы и прикрепляли их к сиденью широкими ремнями. Есенин, очень бледный, облачился в мешковатый костюм, Дункан отказалась.

Еще до посадки, когда мы все сидели на траве аэродрома в ожидании старта, Дункан вдруг спохватилась, что не напи-

сала никакого завещания, и, попросив у меня блокнот, быстро заполнила пару узеньких страничек коротким завещанием; в случае ее смерти, наследником является ее муж — Сергей Есенин-Дункан.

Она показала мне текст.

— Ведь вы летите вместе,— сказал я,— и если случится катастрофа, погибнете оба.

— Я об этом не подумала,— засмеялась Айседора и, быстро дописав фразу: «А в случае его смерти, моим наследником является мой брат Августин Дункан», поставила внизу странички свою размашистую подпись, под которой Ирма Дункан и я подписались в качестве свидетелей.

Наконец, супруги Дункан-Есенины сели в небольшой самолет, и он, оглушив нас воем мотора, двинулся по полю. Вдруг в окне показалось бледное и встревоженное лицо Есенина, он стучал кулаком по стеклу. Оказалось, забыли корзину с лимонами и шампанским. Я бросился к машине, но шофер уже бежал мне навстречу. Схватив корзинку, я помчался за самолетом, медленно ковылявшим по неровному полю, и, вбежав под крыло, передал ее в окно, опущенное Есениным.

Легонький самолет быстро пробежал по аэродрому, отделился от земли и вскоре превратился в небольшой темный силуэтик на сверкающем голубизной небе.

Дети первый раз видели отлет воздушного корабля и стояли бледные и затихшие, подняв головы с широко раскрытыми глазами.

Шофер возился с мотором, автобус никак не заводился. Все молча опустились на траву. Я присел на лежавшие поблизости телеграфные столбы, вынул голубой блокнот и, разогнув его, начал писать на последних страницах информацию об отлете в Берлин Дункан и Есенина, заказанную мне театральным журналом «Рабочий зритель».

Небо нахмурилось, стал накрапывать мелкий дождик, и на листках блокнота, от капель дождя, попадавших на строчки, написанные чернильным карандашом, зарябили лиловые крапинки.

Голубой блокнот я сунул между бумагами в портфель и забыл о нем. Я не знал, что через пять лет об этом блокноте будут писать газеты Европы и Америки...

Сергей Есенин погиб через три года с лишним, Айседора Дункан спустя полтора года после смерти Есенина. О катастрофе в Ницце мы узнали, находясь со студией на гастролях в Донбассе. Мне, как советскому гражданину, нужно было по-

лучить заграничный паспорт, в один день выполнить все формальности было невозможно, и Ирма улетела во Францию одна.

Некоторое время спустя я получил от нее телеграмму:

«Немедленно вышлите завещание Айседоры».

За шесть лет, прошедшие со дня основания школы, накопился значительный архив. Кроме того, в большом письменном столе, стоявшем прежде в комнате Айседоры, а теперь перенесенном в мою, все семь ящиков были полны различными бумагами — Дункан и моими. Я начал поиски завещания и неожиданно быстро нашел среди бумаг узенький голубой блокнот. Я сразу узнал лиловые крапинки от капель дождя.

Однако завещания Айседоры в нем не оказалось. В середине блокнота было вырвано много листков. Очевидно, подумал я, Айседора, в 1923 году возвратившись с Есениным из-за границы, случайно нашла этот блокнот и, может быть, в том же году или в 1924, когда Дункан и Есенин уже расстались, уничтожила свое завещание.

Я телеграфировал в Париж, что завещания нет.

А еще через несколько дней произошло следующее.

Я сидел за письменным столом Айседоры и перебирал бумаги. Арку, ведущую в соседний «голубой зал», по моему указанию заделали, и плотники установили в образовавшейся нише полки. Этот открытый шкаф, в котором разместился архив школы, я завесил широкой портьерой. Вдруг раздался легкий стук. Я взглянул под стол и увидел на полу, возле портьеры, голубой блокнот.

«Откуда он упал,— подумал я,— ведь я положил его в средний ящик письменного стола?» Но выдвинув ящик, сразу увидел голубой блокнот. Он по-прежнему лежал поверх бумаг.

Раскрыв «двойник», я увидел завещание Айседоры.

Тут-то я и вспомнил: этих грошовых блокнотов у меня было несколько. Очевидно, в день проводов в моем портфеле лежало два одинаковых блокнота. В одном — Айседора написала свое завещание, а заметку, обрызганную лиловыми дождевыми капельками, я написал в другом.

Я тут же дал телеграмму Ирме:

«Завещание найдено».

Когда Ирма и часть студии в следующем году уехали на гастроли в Америку, завещание Айседоры было предъявлено там в суде Манхеттена. Луначарский дал мне присылавшуюся ему просоветскую газету «Русский голос» (она выходила в Нью-Йорке на русском языке). Сразу бросился в глаза

заголовок, набранный крупным шрифтом над заметкой в две колонки:

«Завещание Айседоры Дункан утверждено государственным судом Манхеттена»...

Однако «история с завещанием» увела нас на пять с лишним лет вперед, а пока Айседора Дункан и Сергей Есенин, пересекая прибалтийские и польские равнины, летели в Европу.





Несколько слов об этой главе.— Приезд Дункан и Есенина в Берлин.— Встреча с М. Горьким и А. Толстым.

Ехать за границу вместе с Есениным и Дункан студии и мне не пришлось, так как Америка отказала нам в визах после решения лишить Дункан американского гражданства «за советскую пропаганду».

Однако через несколько месяцев после их возвращения я проехал по свежим следам их путешествия, многое узнал от брата Айседоры Раймонда Дункан в Париже и ее сестры Елизаветы Дункан в Берлине. Есенин и Дункан писали мне из Европы и Америки, о многом рассказали, вернувшись в Москву. Кстати, они привезли с собой целую корзину газетных вырезок об их путешествии.

Мне кажется целесообразным поделиться некоторыми мало известными читателю фактами, штрихами, рисующими характер Есенина, Дункан, отношение к ним за границей в те годы.

Я считал также необходимым, тщательно выверив и сопоставив описания одних и тех же фактов в газетах с рассказами и письмами Есенина и Дункан, восстановить истину, искаженную Мери Дести в ее книге об Айседоре Дункан.

Кто же такая Мери Дести?

Айседора мало упоминала о ней. Впервые я увидел это имя еще в первый день приезда Дункан в Москву на этикетке сигарет «Aromatigue», а вскоре заметил такую же надпись — «Фабрика Мери Дести» — на флакончике с духами.

Дести знала Айседору с 1901 года. Тогда же началась их

дружба, продолжавшаяся больше двадцати лет. Дести, по ее словам, боготворила Айседору, и этому можно поверить. Мери то путешествовала, то пыталась танцевать, то открывала маленькие кустарные производства, громко именуемые то табачными, то парфюмерными фабриками.

Дести во всем пыталась подражать Айседоре. Она носила такие же плащи и шляпы, ту же прическу, старалась даже перенять походку Дункан.

Вначале я не знал, что Дести собирается писать книгу о Дункан. Она постоянно расспрашивала меня о разных подробностях жизни Айседоры в Москве, о ее поездках. Намерение стало мне понятным лишь после того, как Мери стала записывать не только отдельные детали из моих ей рассказов, но и целые эпизоды, и подолгу рылась в большом ворохе газетных вырезок, привезенных Дункан и Есениным из-за границы.

С чувством невыразимой досады читал я потом в книге Дести некоторые рассказанные мною эпизоды, искаженные ею до неузнаваемости (о выступлении Дункан перед моряками «Авроры» в Петрограде и многие другие). Часть ее вины и перед истиной, и перед читателями, и перед памятью Дункан и Есенина я переношу на ее «литературного секретаря» — сотрудника издательства, заинтересованного в книге. Собственно, он и писал эти воспоминания, сидя у кровати умирающей Дести в нью-йоркском госпитале...

12 мая 1922 года Дункан и Есенин прибыли в Берлин. В отеле «Адлон», где Айседора всегда останавливалась, ее уже ждали журналисты. Приезд Айседоры Дункан из «большевистской Москвы», да еще в сопровождении какого-то известного русского поэта, ставшего ее мужем,— это была сенсация, а следовательно, и «хлеб» для репортеров. Ее буквально «обстреляли» вопросами.

— Несмотря на лишения, русская интеллигенция с энтузиазмом продолжает свой тяжелый труд по перестройке всей жизни,— отвечала она им.— Мой великий друг Станиславский, глава Художественного театра, и его семья с аппетитом едят бобовую кашу, но это не препятствует ему творить величайшие образы в искусстве.

В берлинском «Кафе Леон» обосновался Дом искусств, не имевший постоянного помещения. В Доме искусств бывало много русских, сочувственно относящихся к Советской России,

а также «сменовеховцев», печатным органом которых была газета «Накануне». Они были очень заинтересованы приездом Есенина.

На следующий же день, 13 мая, Есенин пришел в «Кафе Леон» один, без Дункан, и сразу же стал читать стихи. Принимали его восторженно. После выступления, когда Есенин сел за столик, к нему подошел кельнер и сказал, что приехала Айседора Дункан. Есенин сразу поднялся, вышел в вестибюль и вернулся в зал под руку с Айседорой, радостный и улыбающийся. Их встретили шумными аплодисментами. Айседора предложила спеть в честь Есенина советский гимн — «Интернационал». Она и Есенин запели, и к ним сразу присоединились многие. Но в зале оказалось несколько белогвардейцев, они криками «долой» и свистом прервали пение. Есенин вскочил на стул: «Вы все равно не пересвистите!» И продолжал петь. И снова читал стихи.

Периоды меланхолии, сильного нервного возбуждения были у Есенина и во время путешествия. Но почти всегда, когда назревал один из инцидентов, его можно было предотвратить, предложив Есенину что-нибудь спеть. Особенно часто пел он «Цыганочку», хотя назвать его исполнение настоящим «пением», кажется, нельзя. Это было скорее то, что специалисты называют «parlando», то есть переход от музыкального звучания к речевой интонации.

Есенин запевал:

Вечер, поезд, огоньки,
Вдаль моя дорога...—

и переходил на «parlando», перескакивая на несколько тонов выше, ведя всю дальнейшую фразу на одной, почти фальцетом звучащей ноте:

Сердце ноет от тоски,
А на душе тревога...

И такая тоска была в его голосе, и такая тревога, что вы видели и вечер, и поезд, и мерцающие огоньки, и убегающую вдаль дорогу...

В Берлине в честь Есенина был организован большой вечер в зале общества зубных врачей. На первом вечере в Доме искусств он был в московском костюме, в парусиновых туфлях, простой, доброжелательно настроенный и полный сил. А на этот раз пришел в смокинге, цилиндре и в черной пелерине на белой подкладке, нервничал и все время презрительно ус-

мехался. Но когда стал читать, преобразился и читал потрясающе.

В те дни в Берлине были Горький и Алексей Толстой. Толстой пригласил Дункан и Есенина на обед. На обеде был Горький.

Об этой встрече с Есениным и Дункан Горький и написал свою известную статью.

Дункан знала Алексея Толстого раньше и в дальнейшем встречалась с ним в Смоленске. Однажды мне пришлось срочно выехать оттуда в Москву, и я попросил находившегося в это время в Смоленске Алексея Толстого выступить на спектакле Дункан со вступительным словом. Он охотно согласился.

Горького Айседора видела впервые в жизни. Она была взволнована этой встречей, счастлива за Есенина, сидящего за одним столом с Горьким и Толстым, и к тому же возбуждена выпитым вином. И Горький увидел перед собой не Айседору Дункан, большого художника и реформатора искусства танца, а раскрасневшуюся от вина, уже не молодую женщину, танцевавшую с какими-то увядшими цветами и дурившую, изображая под патефонную пластинку парижского апаша, задушившего свою возлюбленную. Возлюбленную заменял шарф, извивавшийся в выразительных руках Айседоры.

Из Германии я получил от Есенина несколько писем. Они сданы мною весной 1940 года в Литературный музей вместе с его письмами, присланными из Остенде и Брюсселя.

Вот два из этих писем.

Висбаден. Июнь 21.922

Милый Илья Ильич!

Привет Вам и целование. Простите, что так долго не писал Вам, берлинская атмосфера меня издергала вконец. Сейчас от расшатанности нервов еле волочу ногу. Лечусь в Висбадене. Пить перестал и начинаю работать.

Если бы Изадора не была сумасбродной и дала мне возможность где-нибудь присесть, я очень много бы заработал и денег. Пока получил только сто тысяч с лишним марок, между тем в перспективе около 400. У Изадоры дела ужасны. В Берлине адвокат дом ее продал и заплатил ей всего 90 тыс. (марок)[1]. Такая же история может получиться и в Париже. Иму-

[1] В те годы немецкая марка была совершенно обесценена.

щество ее: библиотека и мебель расхищены, на деньги в Банке наложен арест. Сейчас туда она отправила спешно одного ей близкого человека. Знаменитый Поль Бонкур[1] не только в чем-нибудь помог ей, но даже отказался дать подпись для визы в Париж. Таковы ее дела... Она же как ни в чем не бывало скачет на автомобиле то в Любек, то в Лейпциг, то во Франкфурт, то в Веймар. Я следую с молчаливой покорностью, потому что при каждом моем несогласии — истерика.

Германия? Об этом поговорим после, когда увидимся, но жизнь не здесь, а у нас. Здесь действительно медленный грустный закат, о котором говорит Шпенглер[2]. Пусть мы азиаты, пусть дурно пахнем, чешем, не стесняясь, у всех на виду седалищные щеки, но мы не воняем так трупно, как воняют они. Никакой революции здесь быть не может. Все зашло в тупик, спасет и перестроит их только нашествие таких варваров, как мы.

Нужен поход на Европу...

Однако серьезные мысли в этом письме мне сейчас не к лицу. Перехожу к делу. Ради бога, отыщите мою сестру[3] через магазин[4] (оставьте ей письмо) и устройте ей получить деньги по этому чеку в АРА[5], она, вероятно, очень нуждается. Чек для Ирмы только пробный. Когда узнаем, что Вы получили его, тогда Изадора пошлет столько, сколько надо.

Если сестры моей нет в Москве, то напишите ей письмо и передайте Мариенгофу — пусть он отошлет его ей. Кроме того, когда Вы поедете в Лондон, Вы позовите ее к себе и запишите ее точный адрес, по которому можно было бы высылать ей деньги, без которых она погибнет.

Передайте мой привет и все чувства любви моей Мариенгофу. Я послал ему два письма, на которые он почему-то мне не отвечает.

О берлинских друзьях я мог бы сообщить очень замечательное (особенно о некоторых доносах во французскую полицию, чтобы я не попал в Париж. Но все это после, сейчас жаль

---

[1] Поль Бонкур — французский политический деятель, неоднократно занимавший пост министра в правительстве Франции.

[2] Немецкий философ-идеалист, автор нашумевшей книги «Закат Европы».

[3] Е. А. Есенина, учившаяся в это время в Москве.

[4] Книжная лавка писателей, помещавшаяся на Б. Никитской, в доме № 15. Была основана в 1920 году С. Есениным и А. Мариенгофом и существовала до 1923 года.

[5] Сокращенное название Американской Администрации Помощи, созданной в США в 1919 году.

нервов). Когда поедете, захватите с собой все книги мои и Мариенгофа и то, что обо мне писалось за это время.

Жму Вашу руку.

До скорого свидания, любящий Вас Есенин.

Ирме мой нижайший привет. Изадора вышла за меня замуж второй раз и теперь уже не Дункан-Есенина, а просто Есенина.

Письмо из Бельгии:

Брюссель, 13 июль 1922 г.

Милый Илья Ильич!

Я довольно пространно описывал Вам о всех наших происшествиях и поездках в трех больших письмах. Не знаю, дошли ли они до Вас?

Если бы Вы меня сейчас увидели, то Вы, вероятно, не поверили бы своим глазам. Скоро месяц, как я уже не пью. Дал зарок, что не буду пить до октября. Все далось мне через тяжелый неврит и неврастению, но теперь и это кончилось. Изадора в сильном беспокойстве о Вас. При всех возможностях послать Вам денег, как казалось из Москвы, отсюда, оказывается, невозможно.

В субботу, 15 июля мы летим в Париж. Оттуда через АРА сделать это легче.

В одном пакете, который был послан аэропланным сообщением через бюро Красина[1], были вложены Вам два чека по 10 фунтов. Один Ирме, другой моей сестре. Получили ли Вы их?

Это мы сделали для того, чтобы узнать, можно ли Вам так пересылать. Вообще, что нужно.

Милый, милый Илья Ильич!

Со школой, конечно, в Европе Вы произведете фурор.

С нетерпением ждем Вашего приезда.

Особенно жду я, потому что Изадора ровно ни черта не понимает в практических делах, а мне очень больно смотреть на всю эту свору бандитов, которая окружает ее. Когда приедете, воздух немного проветрится.

К Вам у меня очень и очень большая просьба: с одними и теми же словами, как и в старых письмах, когда поедете, дайте ради бога денег моей сестре. Если нет у Вас, у отца Вашего или еще у кого-нибудь, то попросите Сашку и Мариенгофа, узнайте, сколько дают ей из магазина.

---

[1] Советское торгпредство.

Это моя самая большая просьба. Потому что ей нужно учиться, а когда мы с Вами зальемся в Америку, то оттуда совсем будет невозможно помочь ей.

Самые лучшие пожелания и тысячу приветов передайте Ирме. Нам кто-то здесь сбрехнул, что Вы обкомиссариатились?

Приезжайте. Отпразднуем. О том, чтобы Вы выезжали, Вам послана телеграмма. Ехать нужно в Берлин, а оттуда Вас доставят «заказным» в Париж или Остенд.

Вот и все. Поговорим больше, когда увидимся.

Езжайте! Езжайте!

Дайте денег сестре. Возьмите у Мариенгофа адреса и много новых книг. Здесь скучно дьявольски.

Любящий Вас С. Есенин.

Два месяца Есенины-Дункан путешествовали. Они побывали в Любеке, Франкфурте, Вейпунге, Веймаре, Висбадене, посетили Венецию, Рим, Неаполь, Флоренцию.

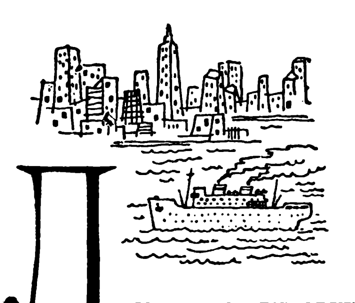
Есенин продолжал работать над изданием своих прежних стихов, писал новые. В Берлине, в издательстве З. И. Гржебина, вышли «Собрание стихов и поэм С. Есенина» (т. 1), «Пугачев» в «Русском универсальном издательстве» и «Стихи скандалиста» в издательстве И. Т. Благова.

Айседора рассказывала мне, что Есенин разговаривал в Веймаре шепотом, с благоговением взирая на свидетелей жизни великих поэтов,— старые грабы, мощно растущие среди молодых фруктовых деревьев. Долго смотрел на недописанную Гете страничку, лежащую на его письменном столе.

Из Брюсселя Дункан и Есенин намеревались проехать в Париж, но неожиданно встретилось затруднение с визами. Дункан привыкла к тому, что любые консульства и посольства любезно и незамедлительно ставили в ее паспорте визы на въезд в их страны. Теперь все крайне осложнилось. Московские визы на паспорте Дункан, «красный» паспорт Есенина и газетный шум, сопровождавший их путешествие, пугали дипломатических представителей.

Наконец, в конце июля 1922 года, при содействии друга Дункан, знаменитой французской актрисы Сесиль Сорель, Айседора и Есенин приехали в Париж, предупрежденные о недопустимости каких-либо политических выступлений. За ними был установлен полицейский надзор.

В октябре на гигантском пароходе «Париж» они отплыли из Гавра в Нью-Йорк.





«Остров слез».— «Железный Миргород».— Снова Париж.— Есенин уезжает в Берлин.— Автомобильная скачка с препятствиями.— Отъезд из Парижа.

Люди, не видавшие никогда гигантских стимеров, пересекающих океан, пожалуй, удивятся, узнав, что на этих пароходах, высотою с многоэтажный дом, команда и обслуживающий персонал насчитывают до 700—800 человек. В каждом из трех классов имеются не только ресторан, бар и кафе, плавательные бассейны и кинозалы, но и дансинги, роскошная отделка которых увеличивается пропорционально стоимости проездных билетов. В первых двух классах существуют еще и концертные залы.

Целые улицы с ярко освещенными витринами магазинов. Стучат линотипные и типографские машины, печатая ежедневную газету. Мычат быки — рестораны должны иметь в пути свежее мясо. Взлетают теннисные и футбольные мячи, на верхней палубе есть даже самолет для желающих попасть в Нью-Йорк на 24 часа раньше. Каждую ночь все часы на пароходе переводятся на один час.

На стимере «Париж» Дункан и Есенин прибыли в Америку, но сразу сойти на берег им не удалось. Иммиграционный инспектор заявил, что ночь они должны провести в своей каюте, а утром проследовать на Эллис-Айланд («Остров слез») для проверки. Инспектор воздержался от каких бы то ни было объяснений и лишь случайно проговорился, что действует согласно инструкции из Вашингтона.

Дункан в белой фетровой шляпе, в красных, «русских», сапожках и в длинном плаще стояла под руку с Есениным на палубе, окруженная толпой пробравшихся сюда репортеров.

Есенин, заготовивший, как он потом рассказывал, целую речь, молчал.

Американские журналисты остались верны себе: они наперебой задавали Дункан нелепые вопросы об ее танцах, о Москве, об Есенине, о визах, об отношении к американцам и даже — «как она выглядит, когда танцует». На этот вопрос



Слева направо: **А. Мариенгоф, С. Есенин, А. Кусиков, В. Шершеневич (1920 г.).**



Н. И. Подвойский и Айседора Дункан.

Айседора резонно ответила, что она не может этого сказать, так как никогда не видела себя танцующей.

Обращаясь через головы репортеров к американцам, она сказала:

— Они задержали нас только потому, что мы приехали из Москвы, хотя американский консул в Париже, завизировавший наши паспорта, заверил нас, что никаких препятствий к въезду теперь не будет!

В то время как Есенин и Дункан сидели в своей каюте с перспективой очутиться утром на Эллис-Айланде, «Таймс» писала:

«Айседора Дункан задержана на Эллис-Айланде! Боги могут смеяться! Айседора Дункан, которой мир обязан созданием нового искусства танца,— зачислена в опаснейшие иммигранты!»

Утром, несмотря на то что стало известно: от департамента труда, которому подчинялось иммиграционное бюро, не исходило никаких приказаний, Дункан и Есенину заявили, что приказ был дан министерством юстиции — «ввиду долгого пребывания Айседоры Дункан в Советской России». Подозревали, что она, «оказывая дружескую услугу Советскому правительству, привезла в Америку какие-то документы».

Про Эллис-Айланд Есенин писал после приезда из США в статье «Железный Миргород»: «...когда мы сели на скамьи, из боковой двери вышел тучный, с круглой головой господин, волосы которого были вздернуты со лба челкой кверху и почему-то напомнили мне рисунки Пичугина в сытинском издании Гоголя.

— Смотри,— сказал я спутнику,— это Миргород! Сейчас прибежит свинья, схватит бумагу,— и мы спасены.

Взяли с меня расписку не петь «Интернационал», как это я сделал в Берлине...»

После двухчасового допроса Есенин и Дункан были освобождены. Айседора заявила ожидавшим ее репортерам:

— Мне никогда не приходило в голову, что люди могут задавать такие невероятные вопросы!

Друзья Айседоры устроили дружескую встречу и банкет в отеле, где они поселились. Дункан была счастлива, с жаром делилась впечатлениями о Советской России и ни о чем другом не желала говорить. Ей не терпелось рассказать об этом всей Америке, как она выразилась. Репортеры вынуждены были записывать и фразу, которой она заканчивала каждое свое интервью:

— Коммунизм является единственным выходом для мира!

Три спектакля Дункан в «Карнеги-холл» прошли с большим успехом и благополучно заканчивались, несмотря на выступления Айседоры с речами о Советской России.

Но последствия сказались очень скоро. Начавшееся в Филадельфии турне приостановилось: мэр Индианополя испугался «большевистских речей» Айседоры и запретил ей въезд в город.

Юрок дал мэру, от имени Дункан, обязательство воздержаться от выступлений с речами, но на первом же спектакле Айседора произнесла, как выразились местные газеты, «одну из своих наиболее ярких речей о коммунистической России».

Наутро репортеры сообщили Дункан, что ей навсегда запрещен въезд в Индианополь. И Дункан и Есенин равнодушно выслушали эту «сенсационную» новость.

Но Юрок нервничал и предупредил Айседору, что первый, самый незначительный инцидент приведет к отмене турне.

В Милуоки он не допустил к ней корреспондентов и объявил, что Дункан никого не принимает, но на банкете, где чествовали ее и Есенина, она опять высказалась всласть.

В Бостоне ее выступление вызвало скандал. В партер была введена конная полиция. Вдобавок ко всему Есенин, открыв за сценой окно, собрал целую толпу бостонцев и с помощью какого-то добровольного переводчика рассказывал правду о жизни новой России.

Турне прекратилось. Но в Нью-Йорке Дункан продолжала выступать и, как она и Есенин мне рассказывали, 12 раз после ее спектаклей, неизменно заканчивающихся «Интернационалом», «зеленая карета» отвозила Айседору в полицию. Правда, дело ограничивалось взятием с нее подписки о невыезде.

Но газеты взбесились, набрасываясь и на Дункан и на Есенина. Они приписывали Есенину дебоши тогда, когда их не было, раздували в скандал каждое резкое высказывание Есенина, его недовольство американскими нравами и чувство разочарования, какое он испытывал в этой стране.

Есенин нервничал.

Была и еще одна причина «взрывчатого» состояния Есенина (об этом мне рассказывала Дункан): он считал, что Америка не приняла и не оценила его как поэта.

Кончилось все это тем, что Айседора Дункан была лишена американского гражданства — «за красную пропаганду». Ей и Есенину было предложено покинуть Соединенные Штаты.

Уезжая из Америки, Дункан заявила журналистам:

— Если бы я приехала в эту страну как большой финансист за займом, мне был бы оказан великолепный прием, но так как я приехала как признанная артистка, меня направили на «Остров слез» в качестве опасного человека и опасного революционера. Я не анархист и не большевик. Мой муж и я являемся революционерами, какими были все художники, заслуживающие этого звания. Каждый художник должен быть революционером, чтобы оставить свой след в мире сегодняшнего дня.

Эти ее слова были напечатаны в газетах наутро после отплытия Дункан и Есенина от берегов Америки.

А Есенин писал в «Известиях»:

«...Сила железобетона, громада зданий стиснули мозг американца и сузили его зрение. Нравы американцев напоминают незабвенные гоголевской памяти нравы Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Как у последних не было города лучше Полтавы, так и у первых нет лучше и культурнее страны, чем Америка.

— Слушайте,— говорил мне один американец,— я знаю Европу. Не спорьте со мной. Я изъездил всю Грецию. Я видел Парфенон. Но все это для меня не ново. Знаете ли, что в штате Теннесси у нас есть Парфенон гораздо новее и лучше.

От таких слов смеяться и плакать хочется. Эти слова замечательно характеризуют Америку во всем, что составляет ее культуру внутреннюю!..»

13 февраля одна из вечерних парижских газет напечатала заметку:

«Сегодня «Марди-Гра»[1] была расстроена по двум причинам: первая — шел дождь, а вторая — исчезновение Айседоры Дункан. Ее поклонники надеялись, что ее приезд окажется светлым серебряным лучом в этом проклятии дождя, который на два дня окутал столицу Франции. Однако после своей высадки с «Джорджа Вашингтона» в Шербурге она укрылась где-то отшельником во Франции...»

Но Дункан и Есенин были уже в Париже.

А вскоре Айседора почувствовала себя больной.

Вызванная телеграммой из Лондона Дести перевезла ее в отель «Резервуар» в Версале. Нервное напряжение во время турне по Америке, возмущение назойливостью и беспардонностью журналистов, раздувающих и раскрашивающих каждый

---

[1] «Марди-Гра» — «жирный вторник» — масленица *(франц.)*.

шаг Есенина, каждый инцидент, связанный с его именем и именем Айседоры,— все это сказалось в Париже.

Айседора, окончательно разболевшаяся, решила послать Жанну сопровождать Есенина до Берлина, где у него оставались друзья и где было советское полпредство. Все свои вещи она отправила с ним, надеясь выехать в Берлин, как только поправится, но температура все подымалась. Айседора совсем не могла спать... Ведь Есенин вынужденно покинул Францию.

А из Берлина сыпались телеграммы от Есенина. Наконец пришла такая:

«Isadora browning darling Sergei lubisch moja darling scurry scurry»[1].

Никто не понял бы эту телеграмму, текст которой приняли на берлинском почтамте, очевидно, за частный шифр.

Но Айседора быстро расшифровала одной ей понятный «код»: «Изадора! Браунинг убьет твоего дарлинг[2] Сергея. Если любишь меня, моя дарлинг, приезжай скорей, скорей».

Заложив за 60 тысяч франков три принадлежащие ей картины Эженя Каррьера, ценность которых была во много раз выше, она выехала в Берлин.

Внезапный отъезд Есенина, разумеется, стал лакомой пищей для парижских газет, и потому все последнее время Айседора категорически отказывалась принимать корреспондентов. Накануне назначенного отъезда она, поднимаясь со своим другом Мерфи в лифте к себе в номер, заметила притаившегося в углу кабины корреспондента. Продолжая разговаривать с Мерфи, она назвала его Сергеем, сделав знак Мерфи, чтобы тот принял участие в розыгрыше. Корреспондент навострил уши.

— Мисс Дункан,— обратился он к Дункан, понимающе и доверительно улыбаясь,— вы не откажетесь теперь признать, что Сергей все еще в Париже?

— Нет, нет! — с деланным испугом стала отрицать Айседора.

Корреспондент настаивал.

Айседора умолила журналиста зайти к ней переговорить и затолкнула Мерфи в ванную.

Убеждая корреспондента в том, насколько ужасным оказалось бы появление в печати сообщения о пребывании Есенина в Париже, она с опаской поглядывала на ванную. Коррес-

---

[1] «Изадора браунинг дарлинг Сергей любишь моя дарлинг скурри скурри».

[2] Дорогого *(англ.)*.

Айседора Дункан. «Марсельеза».

Сергей Есенин
и Айседора Дункан (Берлин, 1922 г.).





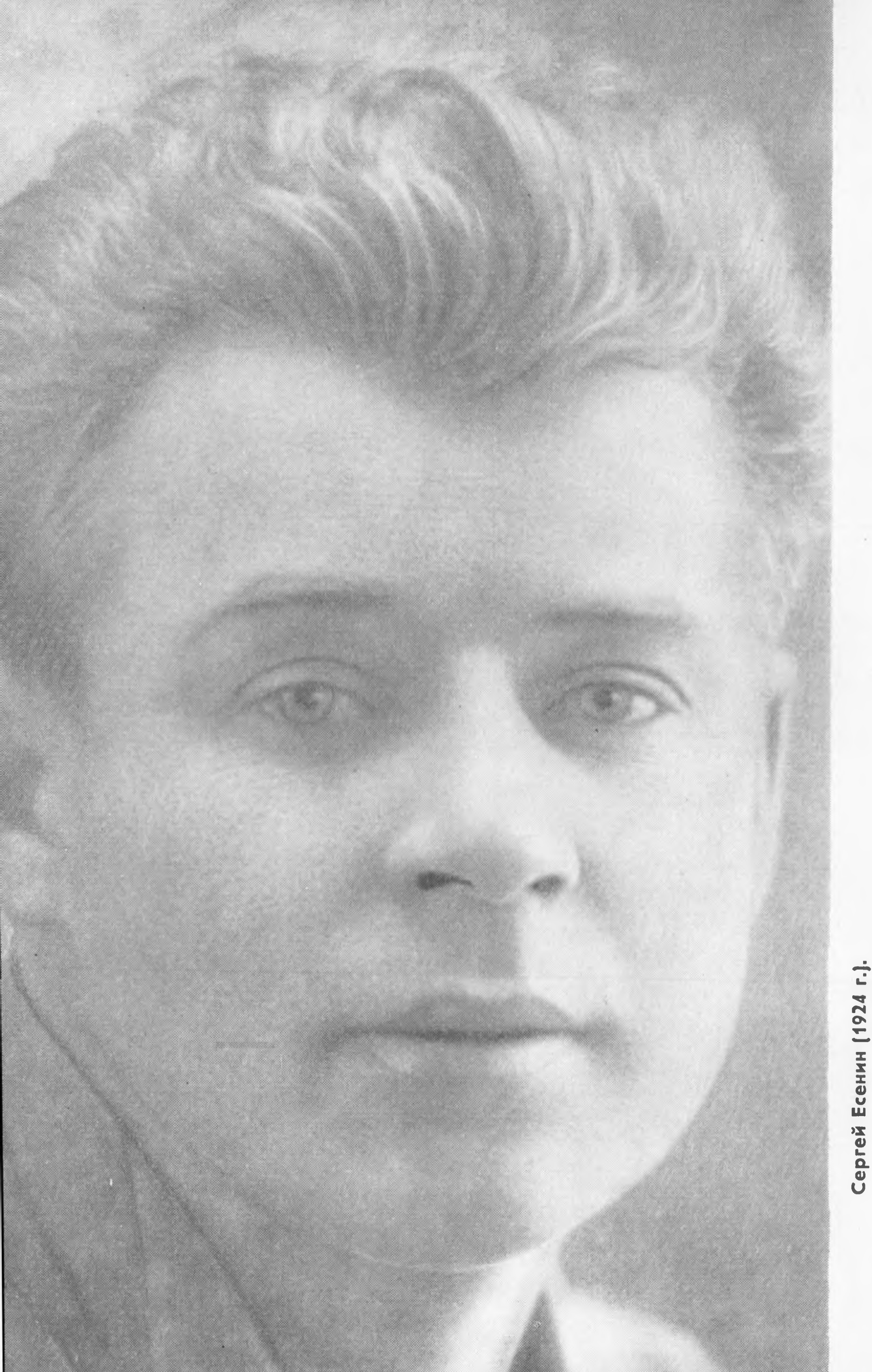
Айседора Дункан. Скульптура.

Сергей Есенин
на курорте в Италии (1922 г.).





Сергей Есенин с сестрой Е. А. Есениной (Москва, 1924 г.).

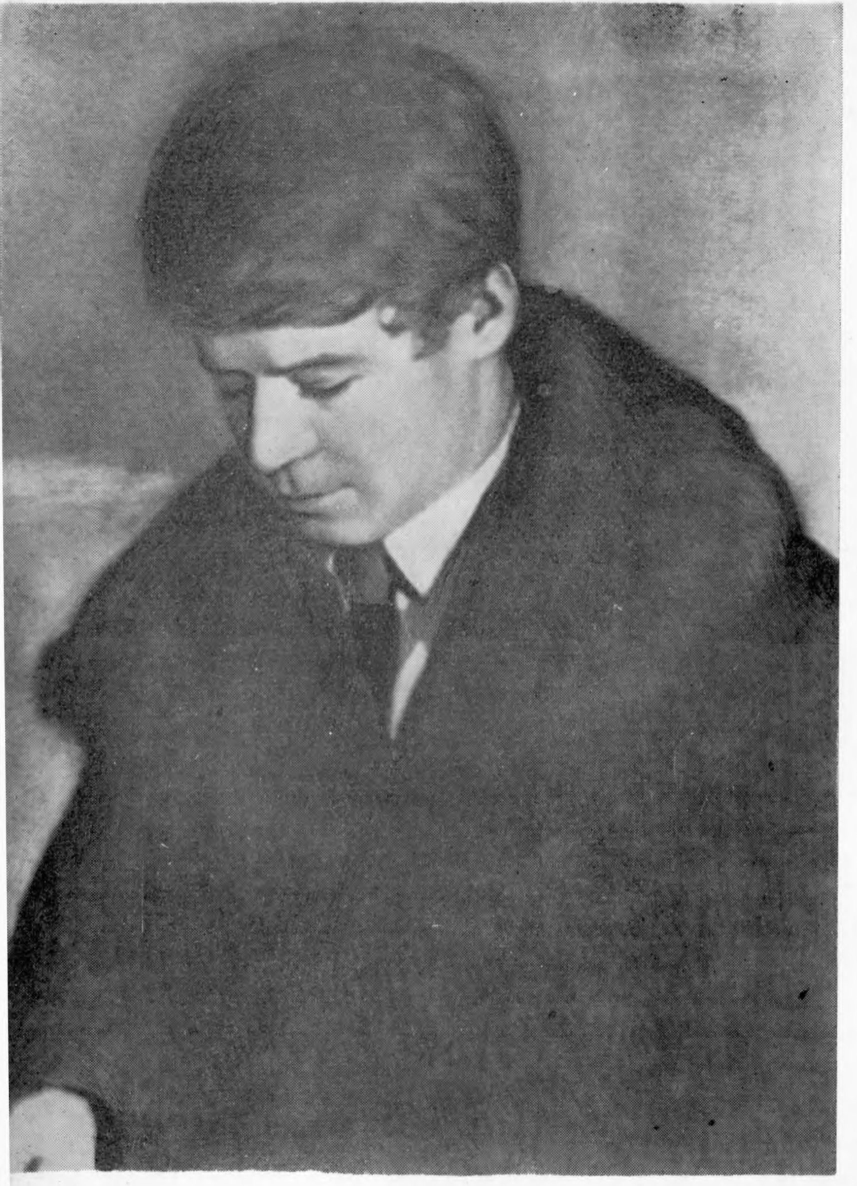


Сергей Есенин (1924 г.).

Галина Бениславская.

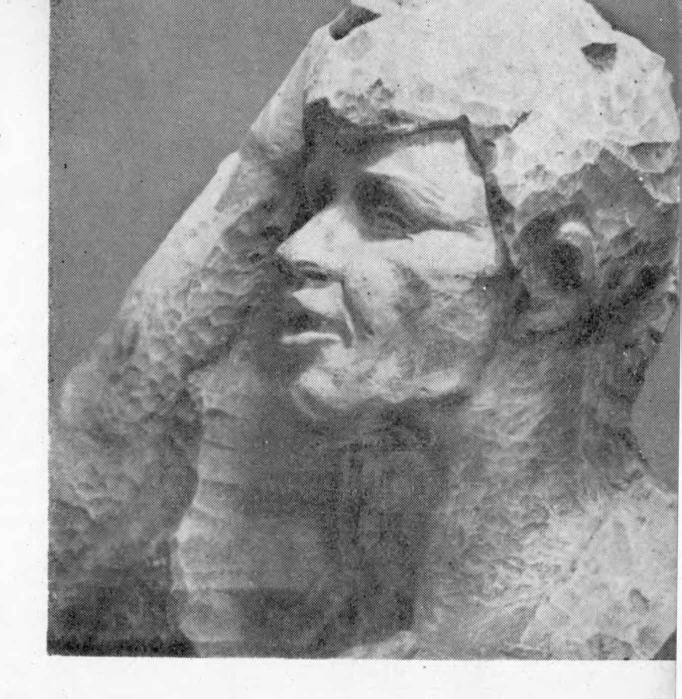
А. А. Есенина с сыном поэта Юрием Изрядновым.



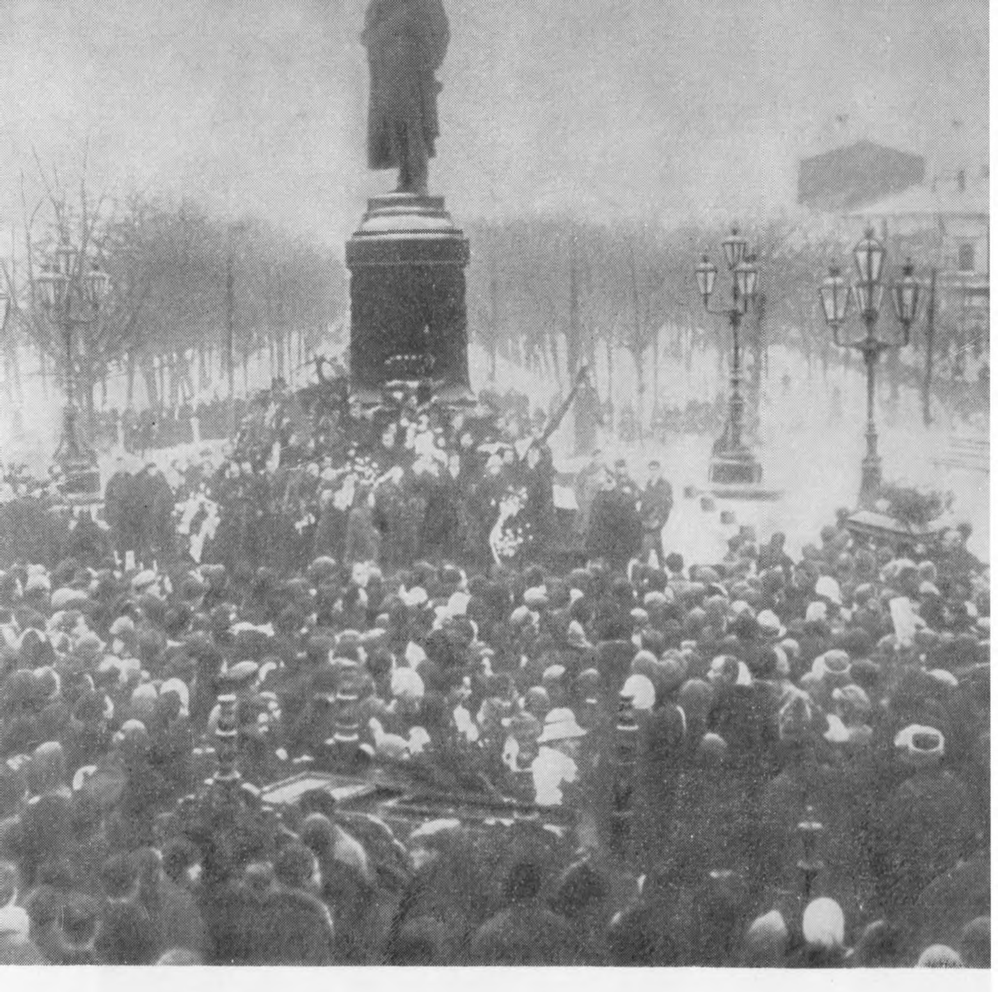


Сергей Есенин (1924 г.).

Бюст Сергея Есенина
работы С. Т. Коненкова.



Слева направо: В. Наседкин, Е. Есенина, А. Есенина, А. Сахаров, С. Есенин и С. Толстая (Москва, 1925 г.).



Похороны С. А. Есенина.
У памятника Пушкина в Москве (декабрь, 1925 г.).

пондент, клятвенно пообещав не рассказывать о происшедшем ни слова, сияя, выбежал из номера.

— Я отомстила всем им за все их нелепые писания обо мне и Есенине! — кричала Айседора, задыхаясь от смеха.

Наутро корреспондент упивался сенсационным разоблачением, но через пару часов сел в лужу.

Путь из Парижа в Берлин не маленький, а тем более на машине. К тому же в автомобильных поездках Айседору Дункан как будто бы преследовал какой-то рок, они постоянно сопровождались авариями.

Она попала в автомобильную катастрофу между Псковом и Ленинградом; под Батуми мы чуть не свалились в пропасть; под Москвой застряли в лесу и т. д.

На этот раз машина довезла Айседору только до Страсбурга и благополучно сломалась. Следующая машина проехала еще меньше и стала. Третья машина на каждом шагу капризничала и, кроме того, была без фар. А дело было уже к вечеру.

Но Дункан все-таки нашла попутчика. Он мчался, как сумасшедший, а Дункан, любившая быструю езду, всю дорогу понукала его к еще большей скорости. Автомобилист, исполняя ее желание, летел сломя голову, сшиб барьер, поставленный посреди дороги, а затем ударился в кучу камней, заготовленных для ремонта и, разнеся ее, катил как ни в чем не бывало дальше, глядя больше на Айседору, чем на летящий навстречу асфальт.

Наконец, через два дня, в 10 часов вечера машина подкатила к берлинскому «Адлон-отелю», пункту встречи с Есениным...

Едва машина остановилась — Есенин прыгнул через голову автомобилиста прямо в объятия Айседоры. Собралась толпа, но Айседора и Есенин ничего и никого не замечали.

Айседора увезла Есенина в Париж. Но в Париже снова начались неприятности. Ночной портье принимал никому не известных супругов Есениных, а утром управляющий, разобравшись, что Есенины — это «разрекламированные» газетами Есенины-Дункан, спешил сообщить Айседоре и Есенину, что занятые ими ночью комнаты сданы с 2-х часов другим лицам.

Есенин был очень спокоен, насмешлив и так же, как Айседора, бессилен, памятуя о возможном вмешательстве полиции в случае справедливых возражений.

В Париже он много работал над сборником «Исповедь

хулигана» (он вышел в переводе Ф. Элленсона и М. Милославской) и даже занимался английским.

Но его уже давно тянуло на Родину.

В Париже Есенин писал про «низенький» «родительский дом»:

Я любил этот дом деревянный,
В бревнах теплилась грозная морщь,
Наша печь как-то дико и странно.
Завывала в дождливую ночь.

И еще:

Только ближе к родимому краю
Мне б хотелось теперь повернуть.

Но для выезда нужны были деньги.

Айседора могла получить их у ростовщика под заложенные ею картины Эженя Каррьера. Но ростовщик прятался от нее. Тогда она отправилась к владельцу художественного магазина, большому поклоннику ее искусства, и рассказала ему о заложенных картинах Каррьера. Тот купил их у Дункан по настоящей стоимости. Продана была также вся мебель из дома Айседоры на Rue de la Pompe. (Через год, когда я приехал в Париж, я нашел дом совершенно пустым.)

— Что мы будем сегодня есть? — весело спрашивала Айседора.— Эту софу или этот книжный шкаф?

— Я решила,— говорила мне потом Айседора в Москве,— уйти от всей этой сумбурной жизни и спрятаться с Есениным в мой маленький домик со студией, где я могла бы отдохнуть и приготовиться к большой работе в Москве.

Задолго до их отъезда в парижской газете «Эклер» появилась клеветническая статья писателя-эмигранта Мережковского об Есенине и Дункан. Еще до этого Айседора писала (в «Эклере», в «Нувель ревю» и в «Нью-Йорк геральд»):

«...Я увезла Есенина из России, где условия жизни пока еще трудные. Я хотела сохранить его для мира. Теперь он возвращается в Россию, чтобы спасти свой разум, так как без России он жить не может. Я знаю, что очень много сердец будут молиться, чтобы этот великий поэт был спасен для того, чтобы и дальше творить Красоту...»

Отвечая Мережковскому, который в своей статье назвал Есенина «пьяным мужиком» и обвинял Дункан в том, что она «продалась большевикам», Айседора писала: «...Во время войны я танцевала «Марсельезу», потому что считала, что эта дорога ведет к свободе. Теперь я танцую «Интернационал»,

потому что чувствую, что это гимн будущего человечества. Есенин самый великий из живущих русских поэтов. Эдгар По, Верлен, Бодлер, Мусоргский, Достоевский, Гоголь — все они оставили творения бессмертного гения. Я хорошо понимаю, что господин Мережковский не мог бы жить с этими людьми, так как таланты всегда в страхе перед гениями.

Несмотря на это, я желаю господину Мережковскому спокойной старости в его буржуазном убежище и респектабельных похорон среди черных плюмажей катафальщиков и наемных плакальщиков в черных перчатках...»



Возвращение Дункан и Есенина в Москву.— Отъезд Дункан в Кисловодск.— Есенин остается в Москве.



Когда белые фартуки носильщиков рассыпались вдоль перрона цепочкой белых пятнышек,— встречающие, как по команде, двинулись по платформе: поезд подходил к перрону.

Мы сразу увидели их. Есенин и Дункан, веселые, улыбающиеся, стояли в тамбуре вагона. Спустившись со ступенек на платформу, Айседора, мягко взяв Есенина за запястье, привлекла к себе и, наклонившись ко мне, серьезно сказала по-немецки: «Вот я привезла этого ребенка на его Родину, но у меня нет более ничего общего с ним...»

Но чувства оказались сильнее решений.

Школа отдыхала в Литвинове. Решено было ехать туда.

Раздобыли открытую легковую машину, и обе Дункан, Есенин и я отправились в Литвиново.

По дороге нам попалось коровье стадо. Есенин, увидав стадо, вытянул шею:

— Коровы...

Потом, оглядываясь на нас, быстро заговорил:

— А вот, если бы не было коров? Россия и без коров! Ну, нет! Без коровы нет деревни. А без деревни нельзя себе представить Россию.

Все шло благополучно, пока мы мчались по шоссе вдоль железной дороги, но, свернув на Литвиново, машина то и дело стала останавливаться на проселке и, наконец, въехав уже в сумерках в лес, села дифером на горб колеи, а затем и совсем отказалась двигаться дальше. Стемнело окончательно. До Литвинова оставалось около трех километров, и я предложил тронуться пешком. Так и сделали. Идти в темноте было трудно. Неожиданно далеко впереди забрезжили какие-то розовые отблески, резко обозначились черные стволы деревьев. Факелы приближались и, внезапно ринувшись прямо на нас, образовали огненный круг. Оказывается, «дунканята», захватив смоляные факелы, решили встречать нас.

Айседора, как завороженная, смотрела расширившимися, счастливыми глазами на этих загорелых эльфов, окруживших ее в ночном лесу Подмосковья.

Как было хорошо идти всем вместе до Литвинова, войти в просторный дом, убранный пахучими березовыми лозами, сесть за стол, украшенный гирляндами полевых цветов, сплетенными детьми. Как хорошо было утром, когда мы не дали долго спать Айседоре и Есенину — потащили их в парк.

Взволнованно смотрела Айседора на танцующих детей, по-детски радовался их успехам Есенин, хлопая руками по коленкам и заливаясь удивленным смехом.

В Литвинове мы прожили несколько дней. Есенин и Дункан рассказывали о своей поездке. Иногда, вспоминая что-то, взглянув друг на друга, начинали безудержно хохотать.

Когда рассказывали о первом посещении берлинского Дома искусств в «Кафе Леон», Айседора вдруг, восторженно глядя на Есенина, воскликнула:

— Он коммунист!

Есенин усмехнулся:

— Даже больше...

— Что? — переспросил я.

— В Берлине, в автобиографии, написал, что я «гораздо левее» коммунистов... Эк хватил! А вступлю обязательно!

Каждый день Есенин с удовольствием присутствовал на уроке танца, который Ирма устраивала на зеленой лужайке возле дома. Иногда уходили далеко гулять, возвращались голодные, как волки, охотно пили квас и холодное сухое вино из запотевших стаканов.

Начались дожди. На дорожках вытянулись, затопив все вокруг, огромные желтые лужи: настроение сразу упало. Иногда казалось, сейчас посветлеет, вырвется из туч золотой

шар и зажжет на деревьях зеленые искры, но дождь затянул косой сеткой парк, белые развалины барского дома, серые сараи и намокшие, потемневшие крыши деревенских изб. Через три дня мы с зонтами молча усаживались в раздобытые экипажи, чтобы ехать на станцию.

Но в сухом, светлом и теплом вагоне все снова ожили и проговорили до самой Москвы. Радостные, оживленные, вернулись Дункан и Есенин на Пречистенку. Казалось, ничто не предвещало бурю.

Но случилось так, что через несколько дней между Есениным и Дункан произошла размолвка. Есенин исчез.

Айседора затихла и безропотно подчинилась взбунтовавшейся Ирме, которая настойчиво потребовала от меня, чтобы мы втроем немедленно отправились в Кисловодск: «Айседора серьезно больна, и ей необходимо курортное лечение».

Потрескивали ремни и хлопали сундучные крышки — Ирма хозяйничала, собирая Айседору в дорогу.

Айседора была обижена на Есенина. Ею опять овладела мысль о неизбежном конце их отношений...

Я объявил «моим дамам», что смогу выехать в Кисловодск только через три дня, а они вдвоем выедут в Минеральные Воды завтра к вечеру скорым поездом. Сам я был занят мыслью: как и где разыскать Есенина? Не знаю, было ли это сентиментальностью или отзвуком чего-то пережитого, но я буквально страдал в этот вечер за Есенина, представляя, что он почувствует, явившись через несколько дней.

Я разослал дворника, швейцара и завхоза во все места, где только мог быть Есенин, дав им задание во что бы то ни стало привезти его.

Дамы ничего об этом не знали и продолжали укладываться. Ирма заявила мне, что, если Есенин и появится, Айседора не должна его видеть. Айседора молчала, по-видимому, соглашаясь и с этим тяжким требованием.

Первым возвратился дворник Филипп Сергеевич, имевший почему-то обыкновение разговаривать со мной, присев на корточки и подперев лицо кулаками:

— Нашел... Тверезый...— и, опустившись на корточки, удовлетворенно добавил: — Сейчас будут,— после чего последовал длинный выдох и устремленный на меня снизу вверх выжидательный взгляд.

Я пошел посмотреть, что делает Айседора, но едва я вошел в ее комнату, как кто-то прибежал с сообщением о том, что приехал Есенин.

Айседора метнулась в комнату Ирмы, и та тотчас же заперла за ней дверь. Но она забыла о двери из «гобеленового коридора».

Я встретил Есенина в вестибюле. Он выглядел взволнованным.

— Айседора уезжает,— сказал я ему.

— Куда? — нервно встрепенулся он.

— Совсем... от вас.

— Куда она хочет ехать?

— В Кисловодск.

— Я хочу к ней.

— Идемте.

Я тихо нажал бронзовую ручку и так же тихо отворил дверь. Айседора сидела на полукруглом диване, спиной к нам.

Она не услышала, как мы вошли в комнату.

Есенин тихо подошел сзади и, опершись о полочку на спинке дивана, наклонился к Дункан:

— Я тебя очень люблю, Изадора... очень люблю,— с хрипотцой прошептал он...

...Было решено, что Есенин поедет в Кисловодск вместе со мной через три дня. Ему были предъявлены «твердые требования»: ночевать эти дни здесь, на Пречистенке. Он принял их, не задумываясь, беспечно улыбаясь и не сводя с Айседоры радостных глаз:

— Завтра проводим вас в Кисловодск, а там и мы с Ильей Ильичом подъедем!

На другой день мы с Есениным проводили Айседору и Ирму в Кисловодск. Айседора собиралась выступить в Минеральных Водах, а потом совершить небольшое турне по Закавказью.

В первый вечер Есенин в самом деле рано вернулся домой, рассказывал мне о непорядках в «Лавке писателей», ругал своего издателя, прошелся с грустным лицом по комнате, где все говорило об Айседоре, поговорил со мной и о деле, владевшем его мыслями: он считал крайне необходимым, чтобы поэты сами издавали собственный журнал.

На следующий день прибежал в возбужденном состоянии и объявил:

— Ехать не могу! Остаюсь в Москве! Такие большие дела! Меня вызвали в Кремль, дают деньги на издание журнала!

Он суматошно метался от ящиков стола к чемоданам:

— Такие большие дела! Изадоре я напишу. Объясню. А как только налажу все, приеду туда к вам!

Вечером он опять не пришел, а ночью вернулся с целой компанией, которая к утру исчезла вместе с Есениным, сильно облегчившим свои чемоданы: он щедро раздавал случайным спутникам все, что попадало под руку.

На следующий день Есенин зашел проститься — чемоданы были почему-то обвязаны веревками...

— Жить тут один не буду. Перееду обратно в Богословский,— ответил он на мой вопрошающий взгляд.

— А что за веревки? Куда девались ремни?

— А черт их знает! Кто-то снял.

И он ушел. Почти навсегда.

Вечером я уехал в Кисловодск.





«Персидская деревня». — Письмо Есенина.— Тифлисские «пластички». Жестокая телеграмма.— Галина Бениславская.

В Пятигорске Айседора спросила меня, будет ли концерт ее там, где убит русский поэт Лермонтов? Очевидно, Есенин говорил с ней о Лермонтове. Дункан плохо знала русскую поэзию.

Концерт в Пятигорске, разумеется, стоял в плане ее гастролей в Минеральных Водах. Она выступала повсюду в 6-й симфонии, но в Пятигорске изменила программу, сказав, что будет танцевать там «Неоконченную симфонию» Шуберта.

Причину своего желания она так и не объяснила, но в день концерта в Пятигорске была очень грустна, жалела, что не успеет съездить на место дуэли, расспрашивала меня о Лермонтове, много говорила о Есенине. Танцевала она «Неоконченную симфонию», которую я тогда впервые увидел, с большим настроением и необычайно лирично.

Из Пятигорска мы выехали в Баку.

Баку очень понравился Айседоре. Наэлектризованная стремлением Есенина «в Персию», она хотела как можно больше «экзотики». И я легко удовлетворил это ее желание,

наняв извозчика до Шиховой деревни, ничем не отличавшейся от деревушки в соседнем Иранском Азербайджане. Деревня ей настолько понравилась, что она стала ездить туда каждый день.

Это было не очень приятное путешествие — на извозчике, мимо раскаленных и зарывшихся в песок голых тюркских кладбищ,— но Айседора буквально наслаждалась видом слепых домиков, узких улочек и необыкновенной тишиной этой, казалось, совсем безлюдной «персидской деревни».

Позднее, в Москве, мы как-то рассказывали Есенину об этих наших поездках в «персидскую деревню». Я где-то читал о том, что Есенин, вероятно, побывал в Персии, и притом не один раз, а дважды...

Скорее всего Есенин в Баку вспомнил наши рассказы и захотел увидеть так близко расположенную «Персию». Может, и в самом деле он не один раз ездил в Шихову деревню.

Впрочем, Василий Иванович Качалов в своих воспоминаниях о Есенине также упоминает, что Есенин «рассказывал и вспоминал о Тегеране»...

Из Баку мы уехали в Тифлис. В коридоре вагона ко мне подошел какой-то человек и, стараясь перекричать вагонный шум, спросил:

— Правда ли, что в этом вагоне едет Айседора Дункан? У меня к ней письмо от Есенина. Случайно услыхав, что я еду на Кавказ, тут же написал и просил передать ей, сказав, что «Дункан где-то на Кавказе»,— объяснил он.

Есенин писал все то, что сказал перед моим отъездом из Москвы, и закончил письмо обещанием приехать в Крым, если Айседора там будет. Дункан долго всматривалась в строки, набросанные своеобразным почерком Есенина:

— Crimée?

Вечером снова повторила: «Crimée»... и добавила: «Зачем он остался в Москве?..»

Она достала еще одно, ранее полученное письмо Есенина и долго всматривалась в его строки. Вот строки из этого письма:

«Дорогая Изадора! Я очень занят книжными делами, приехать не могу.

Часто вспоминаю тебя со всей моей благодарностью тебе.

С Пречистенки я съехал, сперва к Колобову, сейчас переезжаю на другую квартиру, которую покупаем вместе с Мариенгофом...

Желаю успеха и здоровья и поменьше пить.
Привет Ирме и Илье Ильичу.

Любящий С. Есенин.

29.VIII—23 г. Москва».

Но слово «Крым» цепко засело в памяти Айседоры и в дальнейшем сломало и перевернуло весь наш маршрут.

Крушение своего плана с журналом Есенин перенес болезненно. Очевидно, всерьез рассчитывал на журнал. Все это сильно осложнило его психическое состояние. С того лета, проведенного в душной, опустевшей Москве, Есенин как-то заметно сдал...

А мы тем временем ехали в Тифлис.

Спектакли Дункан в Тифлисе горячо принимались экспансивными и музыкальными грузинскими зрителями.

Но Дункан беспокоилась:

— Я вижу днем на улице очень много мужчин, ничем должно быть, не занятых. Но мы проезжали мимо множества фабрик и заводов. Здесь много рабочих. Я хочу знать, есть ли они в зрительном зале на моих выступлениях?

Меня заверили в Наркомпросе, что рабочий зритель посетил спектакли Дункан. Впрочем, это можно было наблюдать и непосредственно в театре и понять по приему, оказанному публикой, в особенности в «Славянском марше» и «Интернационале». Пришлось продлить спектакли.

Но особенно неистовствовали великовозрастные ученицы Тифлисской «пластической студии». Директор студии приезжал несколько раз в «Ориант», приглашая Дункан посетить студию, но Айседора под различными предлогами отказывалась.

«Пластические» школы и студии, во множестве расплодившиеся в России еще до революции, усвоили от Дункан лишь «босоножье», хитоны и туники, «серьезную музыку», ковер и сукна и забыли о главном — об естестве движения, его простоте, правдивости и выразительности, подменив их слащавостью, аффектацией и ложным пафосом.

Естественно, что Дункан отвергала таких «последовательниц». Она считала, что тело, жесты, движения могут с большой силой выражать всю глубину и разнообразие человеческих чувств и переживаний. Вернуть телу его права, сделать его выразителем тончайших душевных волнений — вот главное. Отсюда и легкий костюм, и отсутствие обуви.

Все то, что служило Айседоре Дункан лишь средством выражения идеи, стало самоцелью не только в российских «пла-

стических» школах и студиях (которые в наше время, к счастью, почти себя изжили), но и в Европе и, особенно, в Америке.

Директор Тифлисской студии пластического танца буквально одолел меня просьбами, я сдался и уговорил Айседору поехать.

Еще в вестибюле нас встретила руководительница, гости и девушки-ученицы, преподнесшие Айседоре с реверансами огромный букет белых роз. Нас усадили в первом ряду партера, на эстраду вышли и расположились в шахматном порядке великовозрастные и весьма оголенные ученицы. Показ начался «Вальсом» Сибелиуса.

После первых же движений, не имевших никакой внутренней связи с грустной музыкой Сибелиуса, Айседора подтолкнула меня локтем:

— Warum?[1]

Я прошептал что-то, пытаясь предотвратить назревающий скандал, так как хорошо знал Айседору, но она уже поднялась со своего кресла и, повторив еще раз свой вопрос, повернулась лицом к публике и руководителям:

— За что вы мучаете этих бедных девушек? — с гневом и печалью сказала она.— Чему вы их учите? Что говорят вам эти механические и бесстрастные движения? Они не только не выражают эту музыку, они не выражают ничего вообще. Мне невыразимо грустно оттого, что я сейчас увидела...

Она подошла к эстраде с букетом белых роз и положила его у ног одной из учениц.

— Я кладу эти цветы на могилу моих надежд...— сказала Айседора и направилась к выходу.

Поднялась буря. Зрители повскакали с мест. Мне пришлось остановиться и «защищать тыл»... Айседора и Ирма вышли в вестибюль.

Из Батума я отправил «передового» организовать гастроли Дункан по маршруту Новороссийск—Краснодар—Ростов-на-Дону, откуда мы должны были выехать прямо в Москву.

А пока нам предстояло совершить путь от Батума до Новороссийска на небольшом пароходике «Игнатий Сергеев».

Айседора, поднявшись по трапу, поинтересовалась, куда идет пароход. Услыхав, что его путь лежит через Крым, на

---

[1] Почему? *(немец.)*.

Одессу, категорически заявила, что никуда отсюда не уйдет, пока не доедет до Крыма. Оказалось, что мечтой ее жизни всегда был Крым и, если пароход этот идет в Крым, «было бы глупо и непростительно не проехать туда».

Я убеждал, что гастроли в Новороссийске и Краснодаре уже объявлены, но на нее это не подействовало.

— Кроме того,— заявила она,— Езенин написал мне, что приедет, если я буду в Крыму!

На этом переговоры и закончились. Я уже знал, что они окажутся бесполезными, раз есть надежда на приезд Есенина.

Крым встретил нас нудным осенним дождиком...

— Кто же приезжает в Крым в октябре? — возмущался я. Но Айседора не унывала, уверяя, что и погода будет, и Есенин приедет, и гастроли отменим.

Я послал телеграмму об отмене спектаклей. Телеграфировал в Москву, в школу, что находимся в Ялте. Такую же телеграмму отправил Есенину.

Холод и дождь не прекращались. Как-то мы возвращались в гостиницу, и в холле портье подал мне две телеграммы. Одна была адресована Дункан:

«Писем и телеграмм Есенину больше не шлите. Он со мной. К вам не вернется никогда. Галина Бениславская».

— Что за телеграммы? — спросила Айседора.

— Из школы.

— Почему две?

— Послали одна за другой.

Поднимаясь по лестнице, она опять спросила о телеграммах.

— Ничего особенного,— успокоил я.

Но немного погодя она зашла ко мне в комнату. Ее интуиция действовала безошибочно — полученные телеграммы вызывали в ней какую-то необъяснимую тревогу.

Утром Ирма уговорила меня сказать Айседоре о странной телеграмме не известной никому из нас Галины Бениславской.

Айседору известие поразило, хотя она и сделала вид, будто не приняла его всерьез. Я сказал ей, что уже телеграфировал в Москву и просил выяснить, известно ли Сергею содержание неожиданной телеграммы.

Днем мы вышли с Айседорой на набережную Ялты.

Я чувствовал, что Айседора всячески хочет отвлечься от мучившей ее жестокой телеграммы. Но это не получалось, и вскоре мы повернули к гостинице.

— Как вы думаете,— спросила она,— может быть уже ответ на вашу телеграмму?

— К вечеру будет...

— А вы уверены, что это так? — вдруг спросила Айседора, прервав «отвлеченный» разговор, затеянный мною. Увидав мое недоумевающее лицо, смутилась:

— Я говорю об ответе на вашу телеграмму... Будет ли она к вечеру?

Телеграмма уже ждала нас: «Содержание телеграммы Сергею известно»...

Айседора медленно поднялась по лестнице. Увидав Ирму, пошепталась с ней, и обе склонились, как заговорщики, над листом бумаги. Вскоре Айседора, вопросительно глядя на меня, протянула составленную ими телеграмму:

«Москва. Есенину. Петровка. Богословский. Дом Бахрушина.

Получила телеграмму должно быть твоей прислуги Бениславской пишет чтобы письма телеграммы на Богословский больше не посылать разве переменил адрес прошу объяснить телеграммой очень люблю Изадора».

Ответ мы не получили, так как на другой же день, 12 октября, выехали в Москву.

Много лет спустя, когда ни Есенина, ни Дункан, ни Галины Бениславской уже не было в живых, я узнал, что Есенин все же ответил на телеграмму Айседоры.

На листке бумаги, карандашом, он стал набрасывать ответ: «Я говорил еще в Париже, что в России уйду, ты меня озлобила, люблю тебя, но жить с тобой не буду, сейчас я женат и счастлив, тебе желаю того же. Есенин».

Бениславская в своем дневнике писала, что Есенин дал ей прочитать эту телеграмму. Она заметила, что «если кончать, то лучше не упоминать о любви и т. п.». Есенин перевернул листок и на обороте написал синим карандашом:

«Я люблю другую, женат и счастлив...» и крупными печатными буквами подписал: «Есенин».

Я думал, что Айседора не получила этой телеграммы, потому что она никогда не была отправлена, но к перепечатанному на машинке тексту Есенина была приклеена квитанция об отправке 13 октября в Ялту телеграммы стоимостью 439 р. 50 к. (Дензнаки тех дней.) Бениславская вспоминает также о том, как все смеялись над ее телеграммой к Дункан — «такой вызывающий тон» был совсем не в ее духе, все это было лишь «отпугивание и только...»

Кто же такая Галина Бениславская?

Это имя мне довелось прочитать вторично лишь годы спу-

стя, когда ни Есенина, ни Дункан, ни Галины уже не было в живых.

Однажды зимой меня попросили помочь в организации одних похорон на Ваганьковском кладбище.

После похорон я побрел по расчищенным дорожкам. Неожиданно мне бросилась в глаза надпись: на белой дощечке, прикрепленной к высокому массивному чугунному кресту (могила была ограждена такими же мрачными чугунными брусьями):

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Я никогда не мог заставить себя пойти к этой могиле. Потрясенный самоубийством Есенина, я был не в состоянии выехать из Минска, где проходили гастроли, даже на его похороны. Теперь я рванулся к могиле, провалился в сугроб и ухватился за чугунную ограду соседней могилы, повторявшей в уменьшенных размерах все мрачное оформление могилы Сергея Есенина. На белой дощечке — черная надпись:

ГАЛЯ БЕНИСЛАВСКАЯ

Эта девушка, умная и глубокая, любила Есенина преданно и беззаветно. Есенин отвечал большим дружеским чувством.

Есенин встретился с Бениславской еще до знакомства с Дункан, но никогда не говорил нам о ней. Она же молча пережила и его брак с Дункан, и отъезд за границу. Когда Дункан уехала на Кавказ, Есенин поселился у нее, в Брюсовском переулке, и даже перевез туда своих сестер Катю и Шуру.

В последние годы жизни Есенина Бениславская, работавшая до этого секретарем газеты «Беднота», целиком посвятила себя издательским делам Есенина.

Сохранилась их большая переписка. Приведу несколько выдержек из писем Есенина к Бениславской.

«Галя, милая! Повторяю Вам, что Вы очень и очень мне дороги. Да и сами Вы знаете, что без Вашего участия в моей судьбе было бы очень много плачевного...»[1] — писал Есенин.

Поэт делился с Бениславской творческими планами, посвящал ее в радостные и грустные события своей жизни. «Работается и пишется мне дьявольски хорошо»[2],— читаем мы в одном из писем. А в другом он признается: «...не надо мне этой

---

[1] С. А. Есенин. Собрание соч. в пяти томах. М., Гослитиздат, 1962, т. 5, стр. 174.

[2] Там же, стр. 189.

глупой шумливой славы, не надо построчного успеха. Я понял, что такое поэзия»[1].

Есенин никогда не кривил душой. Любя и ценя Галину как редчайшего своего друга, он в то же время в марте 1925 года написал ей короткое письмо: «Милая Галя! Вы мне близки как друг, но я нисколько не люблю вас как женщину».

Тем не менее Бениславская не покидала его и заботилась о нем. Только женитьба Есенина на внучке Льва Толстого Софье Андреевне Толстой заставила Бениславскую отойти от него. Этот уход друга Есенин воспринял тяжело.

Галина Бениславская почти через год после смерти поэта — 3 декабря 1926 года — окончила жизнь самоубийством на могиле Есенина и завещала похоронить ее рядом с ним.

Она оставила на могиле Есенина две записки. Одна — простая открытка: «3 декабря 1926 года. Самоубилась здесь, хотя и знаю, что после этого еще больше собак будут вешать на Есенина... Но и ему, и мне это все равно. В этой могиле для меня все самое дорогое...» По-видимому, Галина пришла на могилу еще днем. У нее были револьвер, финка и коробка папирос «Мозаика». Она выкурила всю коробку и, когда стемнело, отломила крышку коробки и написала на ней: «Если финка после выстрела будет воткнута в могилу, значит, даже тогда я не жалела. Если жаль — заброшу ее далеко». В темноте она дописала еще одну строчку, наехавшую на предыдущую: «1 осечка». Было еще несколько осечек, и лишь в шестой раз — прозвучал выстрел. Пуля попала в сердце.

В Крыму Айседора не находила себе места, подолгу гуляла по Ялте и ее окрестностям, стараясь отвлечься от тяжелых мыслей.

Наконец мы выехали в Москву, хотя Крымский совнарком, узнав о приезде Дункан, хотел организовать в Симферополе хотя бы одно ее выступление. Но Айседора рвалась в Москву.

На одной из станций я купил свежий номер «Красной Нивы». Там было напечатано новое стихотворение Сергея Есенина. Когда я перевел его Айседоре, она воскликнула:

— Это он мне написал!

---

[1] С. А. Есенин. Собрание соч. в пяти томах. М., Гослитиздат, 1962, т. 5, стр. 190.

И сколько мы ее ни убеждали, что уже первые строки стихотворения:

> Ты такая ж простая, как все,
> Как сто тысяч других в России,—

ясно говорят, что оно не имеет никакого к ней отношения,— она упрямо стояла на своем.

Стихотворение это, как мы вскоре узнали, было посвящено артистке Камерного театра Миклашевской, очень красивой женщине, в которую, как говорили, Есенин влюбился.

13

Снова в Москве.— Цветы от Есенина.— «Смешная жизнь, смешной разлад...»



В Москве с Айседорой произошла неожиданная перемена: она замкнулась, об Есенине не говорила ни слова, не искала с ним встреч, внешне казалась спокойной, работала с детьми. Среди новых танцев, которым Айседора учила детей, была «ирландская джига» — веселая жизнерадостная пляска на музыку Шуберта. Дункан сама занялась и костюмами для «джиги». Короткие туники должны были быть ярко-зелеными.

В венах Айседоры текла ирландская кровь, унаследованная ею от деда.

— В Ирландии,— говорила Дункан,— цвет революции не красный, а зеленый, потому что ирландских революционеров вешали на деревьях... Легендарный Робин Гуд носил на шляпе зеленое перо.

Тогда же Айседора поставила «Карманьолу». Дети, танцуя, пели «Карманьолу» на французском языке и бросали в публику красные цветы.

Кроме того, у нее возникла идея создать цикл танцев русской революции. Они и были поставлены в следующем году — на темы старых и новых русских революционных пе-

сен. Дополненные потом танцами ирландской, французской, китайской революций, они имели огромный успех во время гастролей по Советскому Союзу, а также во Франции, в Китае, в Северной Америке и в Канаде — всюду, где выступала Московская студия имени Айседоры Дункан.

Но финансовое положение школы было по-прежнему неустойчивое, и Дункан написала письмо Луначарскому. Он просил ее приехать.

Приехали мы раньше назначенного времени. Луначарский был на совещании. Вдруг двери его кабинета открылись, и оттуда вышла статная и довольно полная женщина. Горделиво и важно ступая, она прошла через приемную к выходу.

— Кто это? — спросила Дункан.

— Замнаркома Яковлева. Она ведает всеми финансовыми вопросами Наркомпроса.

Айседора порывисто поднялась с кресла:

— Идемте! Нам тут нечего делать. Эта женщина носит корсет! Разве она согласится финансировать школу Айседоры Дункан, которая уничтожила корсет во всем мире?

И заставила меня уйти...

Мне пришлось потом рассказывать Луначарскому о причине, по которой не состоялся его разговор с Дункан. Он сначала смутился, а потом весело расхохотался...

Начался театральный сезон. Первый спектакль Дункан был составлен из произведений Чайковского, программа второго спектакля была вагнеровская.

Я заказал, как это обычно делается, корзину цветов. Это была, так называемая, «театральная» корзина, имитирующая вазу с живыми цветами, с высокой ручкой.

Зайдя перед началом спектакля в гримировальную, я увидел рядом с заказной — огромной корзиной — какой-то маленький горшочек с одиноко торчащим цветком. К нему была приколота записка. Я узнал знакомый почерк: буквы не соединялись и были рассыпаны, как зерна:

«От Сергея Есенина».

Подавать горшочек на огромную сцену театра было нельзя (ведь именно потому «театральные» корзины и делают такими внушительными). Я просто переколол записку с горшочка на корзину.

После 6-й симфонии и антракта, когда уже шел «Славянский марш», я вдруг услышал шум вблизи сцены и, подойдя к двери, ведущей в кулуары, увидел сквозь квадратный «глазок» такую картину: два милиционера пытались удержать

Есенина, который, вырываясь, ударял себя кулаком в грудь, объясняя:

— Я — Дункан!

Сейчас же выйдя к ним, я взял Есенина за руку и потянул к двери. Он обхватил меня руками с такой горячей радостью, с которой, должно быть, утопающий бросается к спасательному кругу.

— Это к вам? — спросил один из милиционеров.

Я утвердительно кивнул головой, а Есенин еще раз, как-то по-детски трогательно и обиженно стукнул себя в грудь:

— Я — Дункан!

И тут же радостно и вместе с тем с важностью сообщил:

— Илья Ильич! Я Изадоре цветы послал!

— Знаю, знаю. Но тише! Идет «Славянский марш».

— Я хочу посмотреть Изадору! — заторопился он.

— Пойдемте, но дайте мне слово, что спокойно постоите в первой кулисе, не будете делать Айседоре никаких знаков. Ведь вы знаете Изадору? Она все может. Увидит вас на сцене и бросится к вам.

— Нет, нет! Я буду только смотреть. Я цветы ей послал.

Мы встали в первой кулисе: он — впереди, прижавшись ко мне, я — положив руки на его плечи. Я очень любил его, и в эти минуты у меня было радостное чувство оттого, что я снова его вижу.

Есенин стоял не шевелясь. Вдруг я услышал сильный, свистящий шепот:

— Изадо-о-о-ра! Изадо-о-о-ра!

Заглянув ему в лицо, я увидал сияющие глаза и вытянутые трубочкой губы:

— Изадо-о-о...

— Сергей Александрович! Вы же обещали!

— Не буду, не буду...

«Славянский марш» подходил к финалу. Голова Дункан запрокинута, глаза устремлены ввысь, где парит зловещая двуглавая птица. Труба ревет предсмертным криком. Пошел занавес. И взвился вновь. И опять опустился. Зал грохочет. По радостному лицу Айседоры текут слезы... И вдруг она увидела Есенина.

— О-о-о! Дарлинг! — услыхал я.

Ее обнаженные руки обвили его голову. А он целовал и целовал эти руки...

Сигналов на подъем занавеса я уже больше не давал.

Было решено ехать ужинать на Пречистенку.

— Только и Катя пусть с нами едет,— попросил Есенин.

И увидав, как Айседора настороженно вскинула голову, заторопился пояснить на их своеобразном, но понятном обоим безглагольном диалекте:

— Си́стра! Си́стра! Изадора! — и, сжав ей запястья, восторженно продолжал: — Ты знаешь? Катя — это гений! Она такой же артист, как и ты, как Шаляпин, как Дузе!

— Катя? — удивился я.

— Она поет! Рязанские песни! Но как поет! Это чудо! Изадора! Ты должна слышать, как поет Катя!

На Пречистенку отправились большой компанией. Есенин был возбужден, радостен, но, к сожалению, пил много.

— Спой, Катя! — требовал он.

Катя запела. У нее был приятный голосок. Спела она одну русскую песню, припевы которой заканчивались тоненьким вскриком.

Все аплодировали. Петь еще Катя не захотела. Есенин затих в каком-то раздумье, прикрыв ладонью глаза. Снова наполнил вином свой бокал. Айседора дотронулась до его руки и попросила не пить больше. Он вскочил, стукнул кулаком и отошел от стола. Тут его взгляд упал на стеклянную «горку». На ней стоял его бюст, выточенный Коненковым из дерева.

Есенин пододвинул к «горке» стул, взобрался на него и потянул к себе бюст. Наконец, сдернув его с «горки», спустился на пол. Все молчали. Есенин оглядел нас тяжелыми, потемневшими глазами. Так темнеет синее-синее море перед бурей. Через несколько минут с треском хлопнула дверь. Есенин исчез, зажав под мышкой чудесное творение Коненкова.

Все оцепенели. Я бросился за ним. В коридоре было пусто. Спустился в холодный холл — и там никого не было. Входная дверь была заперта на ключ.

Я заглянул в детскую столовую. Одно окно с зеркальным стеклом было раскрыто. Значит, Есенин шагнул через него прямо на тротуар Пречистенки. Впоследствии я спрашивал у него про этот бюст. Он ответил, что потерял и даже не помнит, где.

Через 25 лет, случайно разговорившись с артистом Дарским, я узнал, что бюст Есенина находится у него. В ту ночь Есенин встретился с ним в какой-то компании и подарил ему «свою голову».

Есенин продолжал бывать на Пречистенке, но интервалы между его приходами становились все более длительными.

Айседора страдала. Цеплялась за прежние «холодные решения» и бежала от самой себя, погружаясь в работу.

И все же Айседора ждала Есенина. Уходила гулять, подолгу стояла на углу Воздвиженки, напротив Троицких ворот, смотрела на золотые купола Кремля. Она полюбила Москву, хотя и не знала, конечно, есенинских слов:

Я люблю этот город вязевый,
Пусть обрюзг он и пусть одрях,
Золотая дремотная Азия
Опочила на куполах.

Как-то незаметно наступил полный разрыв.

Смешная жизнь, смешной разлад.
Так было и так будет после.
Как кладбище, усеян сад
В берез изглоданные кости.
Вот так же отцветем и мы
И отшумим, как гости сада...
Коль нет цветов среди зимы,
Так и грустить о них не надо.

Есенин не приходил больше на Пречистенку.



14

Сборы в Берлин. — Рассказ Айседоры.

Осенью 1924 года Айседора сказала мне:

— В подвале берлинского полпредства еще осталась часть моей нотной библиотеки и другие вещи. Я бы хотела слетать за ними, и было бы хорошо, если бы вы организовали там несколько моих спектаклей.

Я телеграфировал в концертное бюро в Берлине, и Айседора стала готовиться к отъезду. Но у нее не было никакого паспорта: за границей она, как жена Есенина, была вписана в его паспорт, а он остался у Есенина. Я позвонил ему. Паспорт не нашелся.

Хорошо, что еще до этого Айседора подала заявление о желании принять гражданство Советского Союза. На этом

основании ей было выдано удостоверение, подтверждающее получение такого заявления. С этим документом она и улетела.

Накануне отъезда она спросила меня, не знаю ли я, где стоит ее шляпный сундук, который она привезла из Лондона.

— Я еду ненадолго,— сказала она,— и много вещей брать с собой не буду. А этот сундук такой легкий, и я уложила бы в него все, что нужно.

С сундука стерли пыль и отнесли его Айседоре. Немного спустя я зашел к ней и увидал ее сидящей на ковре, на полу с туфлей в руке. Рядом стоял сундук с откинутой крышкой. Айседора долго, молча смотрела на меня какими-то невидящими глазами, потом заговорила:

— Я открыла крышку и вдруг увидела, как по стенкам сундука побежал огромный паук... Я так испугалась, сдернула туфлю и одним ударом убила его! Это было одно мгновение! И вот, я думаю... В этом сундуке, может, родился и годами жил паук. Это был его мир, черный и темный. Стихии света паук не знал. Его мир был ограничен углами и отвесными плоскостями. Но это была его вселенная, за которой не было Ничего или было Неизвестное. Паук жил в этом мире, не зная, что весь он — только шляпный сундук какой-то Айседоры Дункан, которой взбрело в голову лететь в какой-то Берлин! И вдруг в этот его мир хлынуло что-то невиданное, непонятное и ослепляющее! И тут же наступила смерть! Этой высшей неведомой силой, принесшей ему внезапную смерть, была я. Тем неведомым в жизни, которое люди принимают за бога. Может, и мы живем в таком шляпном сундуке?

Рано утром мы уехали на аэродром. Это была та же самая линия Москва—Кенигсберг «Дерулуфта», которой два с половиной года назад Айседора летала с Есениным. Пилот-немец нервно ходил взад и вперед, размахивая московским тортом, который, как говорили, вез в Кенигсберг своей невесте, и что-то бормотал. Оказывается, он проклинал необходимость лететь с «Isadora Duncan, которая вечно попадает в катастрофы...»

Это было ранним утром, а под вечер, в сумерках я увидал Айседору, медленно поднимающуюся по мраморной школьной лестнице.

— Айседора! Откуда вы?!

— Вынужденная посадка под Можайском. Летим завтра утром. Прошу вас приготовить мне пакет с двадцатью красными туниками. Я обещала сбросить их завтра можайским

комсомольцам. Я с ними провела несколько чудесных часов, пока чинили самолет. Учила их танцу и свободному движению в спиральном построении «Интернационала»! Все под гармонь. Вы уж не пожалейте эти двадцать туник!

— Пилот ругался?

— Ужасно! Представляете? Он считал, что все произошло из-за того, что я была его пассажиркой!

В тот день я видел Айседору последний раз в жизни.

Из Берлина Айседора уехала в Париж. Многое было связано с ним в жизни Айседоры. Здесь она узнала первую любовь. Здесь она стала знаменитостью. Здесь родились ее дети — девочка Дердр и мальчик Патрик. В Париже они погибли. В Париже она почувствовала «начало конца» любви Есенина.

Мы привыкли, что сцены любых театров, клубов, дворцов культуры одеты в «сукна», но мало кто помнит о том, где впервые появились «сукна». Их «изобрел» известный английский режиссер Гордон Крэг. В книге К. С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве» есть глава — «Дункан и Крэг». Крэг и Дункан вместе приезжали в Москву в 1905 году. Гордон Крэг был первым мужем Айседоры Дункан и отцом Дердр.

Патрик родился от второго брака Дункан с Парисом Санже. Так звучала фамилия «Зингер» по-французски. Парис Зингер — так произносится эта фамилия по-русски. Да, отпрыск тех самых Зингеров, чье имя во всем мире связано с изобретением швейной машины.

Этот брак Айседоры с миллионером был браком по любви. Деньги Зингера не интересовали ее.

— Зачем? — сказала она однажды, рассказывая мне о своей жизни.— Деньги текли ко мне, как вода из водопроводного крана. Поверну — потекут. Захочу контракт в Испанию, пришлют! Захочу в Россию, контракт будет!

В Париже он купил для школы Дункан отель «Бельвю». Был создан организационный комитет, в который вошел весь цвет искусства и литературы не только Франции, но и всей Западной Европы. И в честь этого состоялся банкет. Когда уже отзвучали речи и банкет подходил к концу, к Айседоре подошел метрдотель и сказал, что ее спрашивают. Она вышла в вестибюль и очень удивилась, увидав своих детей с няней-англичанкой...

— Что случилось? — заволновалась Айседора, целуя детей.

— Ничего. Мы поехали покататься, и дети очень захотели увидеть вас. Они так просили...

— Поезжайте домой. Я назначила пианисту прийти в студию в Нейи, я позанимаюсь час и приеду домой. Поезжайте...

Она вышла с ними на улицу, сама закутала пледами их ножки. Машина отъехала.

— Я проехала в студию Нейи,— рассказывала мне Айседора.— Пианиста еще не было. Помню, надела белую тунику и, держа в руках коробку с шоколадом, ходила по студии, ела конфеты и думала: я самая счастливая женщина в мире... Я молода, знаменита, у меня такие чудесные дети, муж... Сегодня исполнилась мечта моей жизни. У меня будет школа и театр! И в этот момент в студию вбежал Зингер... Он крикнул: «Дети... умерли!» И упал. Почему тогда я не сошла с ума? Я не могла воспринять то, что он крикнул... Я видела только, что он упал и сейчас умрет, и я бросилась к нему. Может быть, это спасло мой мозг...

Она долго молча плакала...

— Машина с детьми выехала на набережную Сены: наперерез ей выскочило такси. Наш шофер, избегая столкновения, круто свернул к реке... Мотор заглох. Шофер взял ручку, вышел из машины и завел мотор. Вдруг машина двинулась на него прямо к реке... Парапета тогда не было. Шофер отскочил в сторону, машина упала в Сену...

Она опять замолчала, закрыв рукой глаза. Потом снова глухо зазвучал ее голос:

— Пока шофер бился головой о мостовую, пока бегал зачем-то к моей сестре Елизавете, стучал там в дверь... время, время шло! А они были в воде... Через час машину подняли краном. Их отвезли во французский госпиталь. Мне потом говорили, будто девочка моя еще дышала! Если бы я тогда могла быть около них! Силой материнской любви я бы вернула ее к жизни...

После катастрофы Дункан покинула сцену, к тому же она готовилась вновь стать матерью.

— Когда у меня опять родился мальчик, я решила назвать его Патриком в память о погибшем. Я лежала и попросила принести ребенка и положить ко мне. Головка его лежала на моем плече. Я наклонилась над ним и сказала: «Патрик...» Он открыл большие голубые глаза, вздохнул и умер... Какое же могло быть сердце у этого ребенка, если я носила его под своим сердцем, источавшим страдание.

Я лежала в темноте и слушала, как Парис сколачивает ящик, чтобы похоронить Патрика в нашем садике. Потом вошла Мэри и зажгла лампы. Я попросила ее принести мне какую-нибудь книгу. Незадолго до катастрофы мне принесли неизвестно кем присланную книгу — «Ниобея, оплакивающая своих детей». Я поставила ее на библиотечную полку... Теперь Мэри взяла первую попавшуюся книгу и подала мне. Это была «Ниобея, оплакивающая своих детей»... Я не мистик и рассказываю вам про эту книгу не без причины. Но вдумываться в это нельзя — тогда сойдешь с ума. Если это правда, то Понсон дю-Террайль с его Рокамболем и прочим — бледный выдумщик...

Она взяла сигарету и никак не могла зажечь спичку. Сплошные зеркальные стекла, вставленные в четыре длинных окна ее комнаты, поголубели... Уже рассветало. Айседора долго молчала...

— Вы слышали когда-нибудь о профессоре Дуайене? — вдруг спросила Дункан.

Мне было знакомо это имя: «Операция профессора Дуайена» — так называлась короткая кинокартина, которую демонстрировали после сеансов в первых московских синематографах. Киномеханик объявлял через свое оконце: «Драма в шести частях», или «Сильно комическая», или «Видовая». Чуть ли не два года подряд после сеансов показывали «Операции профессора Дуайена», предупреждая: «Нервных, женщин и детей просят выйти». Дуайен, высокий красивый мужчина с холеной светлой бородой, делал три операции: трепанацию черепа, вырезание рака и еще какую-то...

— Этот самый...— подтвердила Айседора.— У Дуайена была жена, очень красивая, высокая блондинка. Я тогда еще не знала Зингера. Он был неразлучен с женой Дуайена, а тот, видно, не возражал... Зингер строил для него хирургические дворцы, финансировал завод знаменитого шампанского «Дуайен», создавал ему бешеную рекламу. Вот и фильм этот тоже... Потом Зингер оставил жену Дуайена, он полюбил меня. Мы поженились. Очевидно, для Дуайена собственная карьера и финансовое благополучие были дороже жены. Он возненавидел меня. Я всегда чувствовала его ненависть! Это был какой-то средневековый враг.

...Мой шофер после катастрофы ушел от меня. Он купил виллу за 50 тысяч франков... Это была очень, очень большая сумма... Я не могу об этом ни думать, ни говорить...

И вот теперь Айседора снова была в Париже, где ей предстояло получить еще один тяжелый удар — мою телеграмму о самоубийстве Есенина.





Последние встречи с Есениным. — Катастрофа.— Есенин и «есенинщина».— Смерть Айседоры Дункан.— Как была написана эта книга.

С тех пор как произошел разрыв, я долго не видел Есенина. Мне рассказывали, что видели его в Колонном зале: Есенин простоял долгие часы около гроба Ленина... В апреле он уехал в Ленинград. В это время там была Дункан. Приехал и Камерный театр. Однажды А. Я. Таиров пригласил нас на обед. На обед поехала одна Айседора.

Таиров позвонил писателю Н. Никитину и, приглашая, сказал, что будет Дункан.

Есенин, сидевший у Никитина, слышал этот разговор. К Таирову они приехали вместе.

Есенин, сделав общий поклон, пристроился где-то в конце стола среди артисток Камерного театра. Не дождавшись конца обеда, он исчез.

Никитин пишет в своих воспоминаниях: «...неужели он приезжал лишь затем, чтобы хоть полчаса подышать одним воздухом с Айседорой?..

Может быть, нам кое-что подскажет отрывок из его лирики тех лет:

Чужие губы разнесли
Твое тепло и трепет тела,
Как будто дождик моросит
С души, немного омертвелой.
Ну, что ж! Я не боюсь его,
Иная радость мне открылась
. . . .
Так мало пройдено дорог,
Так много сделано ошибок.

Быть может, и этот роман был одной из его ошибок. Быть может, он приезжал в «Англетер», чтобы еще раз проверить

себя, что кроется под этой иной радостью... Во всяком случае, я верю в то, что эта глава из жизни Есенина совсем не так случайна и мелка, как многие об этом думали и еще думают...»

Айседора вернулась с обеда задумчивая и молчаливая. Сказала только, что был Есенин, но быстро ушел.

Через несколько дней мы с Ирмой Дункан уехали в Москву, а Айседора на гастроли в Белоруссию.

В июне праздновалось 125-летие со дня рождения Пушкина. На торжественном митинге у памятника Пушкину венок к подножию возложил от имени советских писателей поэт Сергей Есенин.

Я стоял довольно далеко, но мне было видно, как Есенин поднялся на ступеньки и начал громко читать свое новое стихотворение «Пушкину»:

Мечтая о могучем даре
Того, кто русской стал судьбой,
Стою я на Тверском бульваре,
Стою и говорю с собой...
. . . .
Я умер бы сейчас от счастья,
Сподобленный такой судьбе.

Но, обреченный на гоненье,
Еще я долго буду петь...
Чтоб и мое степное пенье
Сумело бронзой прозвенеть.

Да, он хотел долго жить и долго петь. Это подтверждается многими строками его стихотворений и писем. Свою автобиографию, написанную в том же месяце, он заканчивает такими словами: «Жизнь моя и мое творчество еще впереди».

В последние два года жизни Есенина я редко видел его. Знал, что в июле он снова ездил в Ленинград, потом уезжал в Константиново, а в сентябре уехал на Кавказ, где прожил долго, до конца февраля 1925 года. На месяц возвратился в Москву и снова уехал в Баку. За эти полгода он много писал. На Кавказе созданы «Ленин», «Песнь о великом походе», «Баллада о двадцати шести», «Поэма о 36», «Анна Снегина», «Капитан земли», «Стансы», «Отговорила роща золотая...», «Русь уходящая», «Письмо к женщине», «Письмо от матери», «Ответ» и, наконец, «Персидские мотивы» и «Цветы». («На сердце у меня лежит черновик новой хорошей поэмы «Цветы». Это, пожалуй, лучше всего, что я написал»,— пишет он Г. А. Бениславской в декабре 1924 года.)

В октябре же «Правда» пишет, что «внимание читателей

приковывают прекрасные стихи С. Есенина. После долгих и бурных исканий автор пришел к Пушкину».

Позднее, в Баку, он встречается с С. М. Кировым и М. В. Фрунзе, которым читает свои стихи.

В июне он уже снова в Москве. Здесь я и встретил его. Я спускался по Кузнецкому переулку к Петровке, когда около витрин фотографии «Паола», где был выставлен большой портрет Есенина, кто-то остановил меня, схватив за локоть...

— Илья Ильич! Вы уж и видеть меня не хотите?

Передо мной было пригожее, родное, радостное и улыбающееся лицо Есенина, его ясные, синие, смеющиеся глаза. Он стоял на одной ноге, другая — на ящике чистильщика.

— Очень хочу! — обрадовался я.

И так, держась за мой локоть, он засыпал меня вопросами. Я торопливо отвечал и сам расспрашивал его обо всем. А он рассказал мне о том, что его, видимо, радовало: Госиздат приступил к изданию собрания его сочинений.

В последний раз я встретился с Есениным за полтора месяца до его смерти: со старшими «дунканятами» мы ехали вечером в трамвае, возвращаясь домой после сеанса в кинотеатре «Художественный». У Пречистенских ворот вошло несколько пассажиров. Один из них, в сером пальто и светлой кепке, быстро прошел по вагону к выходу. В это время вагон тронулся, сильно дернув, и пассажира бросило прямо на колени одной из сидящих студиек. Он сконфуженно вскочил на ноги, и тут мы оба схватили друг друга за руки и закричали:

— Сергей Александрович!

— Илья Ильич!

Я смотрел на него, и тревожно ныло сердце: он очень изменился, похудел, как-то посерел, и глаза потускнели. Но улыбка была все та же, подкупающая, чистая, как у ребенка.

— Неужели это они? — радостно спрашивал он, оглядывая «дунканят».— Как выросли! А где Капелька? (так звал он свою любимицу — Шуру Аксенову).

— Вот к ней на колени вы и сели!

Вдруг он сказал:

— А вы знаете? Я женился!

— Знаю.

— Правда хорошо? Сергей Есенин женат на внучке Льва Толстого?!

— Очень хорошо...— ответил я, с печалью глядя на его болезненное лицо.

(Много лет спустя сестра поэта, А. А. Есенина, писала

в своих воспоминаниях об отношениях между Есениным и С. А. Толстой: «Сергей сразу же понял, что они совершенно разные люди, с разными интересами и разными взглядами на жизнь...»[1])

Трамвай остановился у Дома ученых. Студийки, прощаясь, выходили в переднюю дверь. Простились и мы. На этот раз — навсегда.

Вскоре Есенин поступил на 2-месячное лечение в поликлинику внутренних болезней I МГУ, но через 26 дней выписался оттуда и через день — 22 декабря — уехал в Ленинград, взяв с собой все свои записки, рукописи, книги. «Есенин ехал в Ленинград не умирать, а работать...» — пишет в своих воспоминаниях друг поэта, журналист Устинов.

А с другой стороны, вот история еще одного предсмертного стихотворения Есенина, ранее не известного.

Написано оно за несколько дней до смерти на портрете, который Есенин подарил писателю Евгению Михайловичу Рокотову-Бельскому.

Сообщение об этом было прислано недавно в Комиссию по литературному наследию С. Есенина при ССП СССР читателем С. А. Оболенским.

В своем письме в комиссию С. Оболенский пишет:

«...Этот портрет, равно как и портреты А. Блока и Максима Горького, подаренные ими тому же Рокотову, продавались в Ленинграде в букинистическом магазине на Невском около Литейного проспекта лет 8—9 тому назад. К сожалению, портреты эти были оценены очень дорого (рублей по 250 каждый) и я, за отсутствием свободных денег, ограничился лишь тем, что списал собственноручные надписи С. Есенина и А. Блока. Когда же я на следующий день приехал в магазин с деньгами, все портреты были уже кому-то проданы...»

Вот это стихотворение:

Жене Рокотову

Помнишь наши встречи, споры
и мечты?
Был тогда я молод, молод был
и ты,
Счастье было близко, жизнь
была ясна,
В дни осенней хмури в нас
цвела весна,

[1] А. А. Есенина. Мой брат Сергей Есенин.— «Простор», 1964 г., № 5, стр. 73.

Мы теперь устали, нам бы
как-нибудь
Поскорее выбрать ежедневный
путь,
Нам бы поскорее завершить
свой круг...
Разве я не правду говорю,
мой друг?
Сергей Есенин

23 декабря 1925.

Перед отъездом из Москвы в Ленинград он побывал у всех своих родных, навестил детей — Константина и Татьяну (от первого брака с З. Н. Райх) и попрощался с ними. Пришел перед самым отъездом и к своей первой подруге — Анне Романовне Изрядновой, когда-то работавшей вместе с Есениным корректором в типографии Сытина. (У Изрядновой рос сын Есенина Юрий, родившийся 21 января 1915 года.)

Когда после смерти Есенина в народном суде Хамовнического района Москвы разбиралось дело о признании этого ребенка сыном поэта, одна из выступавших свидетельниц рассказала, что «Есенин перед своей поездкой в Ленинград заходил к своему ребенку. Между свидетельницей и Есениным зашел разговор о том, как быстро стареются люди. Есенин, между прочим, сказал:

— Да, выходит, я уже старый, ведь ему (сыну) уже 11 лет...»

Сама А. Р. Изряднова пишет в своих неопубликованных воспоминаниях:

«...В сентябре 1925 года пришел с большим белым свертком в 8 часов утра. Не здороваясь, обращается с вопросом: «У тебя есть печь?» Спрашиваю: «Печь, что ли, что хочешь?» — «Нет. Надо сжечь». Стала уговаривать его, чтобы не жег, жалеть будет после, потому что и раньше бывали случаи, придет, порвет свои карточки, рукописи, а потом ругает меня — зачем давала. В этот раз никакие уговоры не действовали, волнуется, говорит: «Неужели даже ты не сделаешь для меня то, что я хочу». Повела его в кухню, затопила плиту, и вот он в своем сером костюме, в шляпе, с кочергой в руках стоит около плиты и тщательно охраняет, как бы не осталось не сожженного. Когда все сжег, успокоился, стал пить чай и мирно разговаривать. На мой вопрос — почему рано пришел — говорит, что встал давно, уж много работал.

Видела его незадолго до смерти. Пришел, говорит, про-

ститься. На мой вопрос, что, почему, говорит: «Смываюсь, уезжаю, чувствую себя плохо, наверно, умру». Просил не баловать, беречь сына». (Юрий умер в 1937 году.)

Телеграмму о самоубийстве Есенина я получил в Минске, где шли гастроли студии. Трудно даже вспоминать, что́ все мы пережили.

Айседора была в Париже. Я телеграфировал ей.

В январе пришло от Айседоры письмо из Парижа. Она писала:

«...Смерть Есенина потрясла меня, но я столько плакала, что не могу больше страдать, и сама я сейчас так несчастна, что часто думаю о том, чтобы последовать его примеру, но только иначе — я пойду в море...»

После смерти Есенина Айседора телеграфировала в парижские газеты:

«Трагическая смерть Есенина причинила мне глубочайшую боль. У него были молодость, красота, гениальность. Неудовлетворенный всеми этими дарами, его отважный дух искал невозможного. Он уничтожил свое молодое и прекрасное тело, но дух его будет вечно жить в душе русского народа и в душе всех любящих поэзию. Протестую против легкомысленных высказываний, опубликованных американской прессой в Париже. Между Есениным и мною никогда не было ссор, и мы никогда не были разведены. Я оплакиваю его смерть с болью и отчаянием».

...С тех пор прошло почти 40 лет, но интерес к Есенину не ослабел. Мне приходится довольно часто выступать перед самыми различными аудиториями с личными воспоминаниями о поэте. И повсюду я наблюдаю одну и ту же картину: собравшиеся напряженно, взволнованно слушают рассказ о Есенине и готовы слушать еще и еще. После выступления — бесчисленные записки с вопросами: «Была ли поэзия Есенина известна Ленину?» «Как относились друг к другу Есенин и Маяковский?» «Почему в Москве нет ни памятника Есенину, ни улицы его имени?» «Кому посвящено «Письмо к женщине»?» «Почему в школах нет настоящего изучения творчества Есенина?» «Кого из современных поэтов можно считать последователем Есенина?» «Кому посвятил Есенин предсмертное стихотворение?» «Какие стихи Есенина посвящены Айседоре Дункан?» «Кто из родных Есенина жив?» И чаще всего задается вопрос,

на который сложнее и труднее всего ответить: «В чем причина трагедии Есенина и его самоубийства?»

В 1918 году Владимир Ильич Ленин писал в статье «Главная задача наших дней»: «История человечества проделывает в наши дни один из самых великих, самых трудных поворотов, имеющих необъятное — без малейшего преувеличения можно сказать: всемирно освободительное значение...— неудивительно, что на самых крутых пунктах столь крутого поворота, когда кругом со страшным шумом и треском надламывается и разваливается старое, а рядом в неописуемых муках рождается новое, кое у кого кружится голова, кое-кем овладевает отчаяние...»[1]

Это смятение отразилось и в творчестве Есенина. В «Письме к женщине» поэт говорит:

Но вы не знали,
Что в сплошном дыму,
В развороченном бурей быте
С того и мучаюсь,
Что не пойму,
Куда несет нас рок событий...

Вскоре после гибели Есенина появилось много воспоминаний о нем. Хлынул и мутный поток бульварных книжонок и брошюр с «сенсационными» заглавиями: «Черная тайна Есенина», «Москва кабацкая» и др.

Крылатое словцо «есенинщина» пошло гулять по стране, как синоним упадочничества. Но одновременно началась и борьба за молодежь, за Есенина и против «есенинщины». Борьбу эту возглавили Луначарский, Горький, Демьян Бедный, Безыменский, Маяковский.

Стало известно предсмертное стихотворение Есенина, оканчивающееся словами:

В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

«...Сразу стало ясно,— писал Маяковский,— сколько колеблющихся этот сильный стих, именно стих подведет под петлю или револьвер... С этим стихом можно и надо бороться только стихом.

Так поэтам СССР был дан социальный наказ написать стихи об Есенине. Заказ исключительный, важный и срочный,

[1] В. И. Ленин. Соч., изд. 4-е, т. 27, стр. 133.

так как есенинские строки начали действовать быстро и без промаха... Надо отобрать Есенина у пользующихся его смертью».

Перефразируя пессимистическую концовку посмертного стихотворения Есенина, Маяковский писал:

В этой жизни
помереть
не трудно.
Сделать жизнь
значительно трудней.

Алексей Толстой вскоре после смерти Есенина писал: «Он горел во время революции и задохнулся в будни, он ушел от деревни и не пришел к городу. Последние годы его жизни были расточением его гения. Он расточал себя».

Через год после смерти Есенина, в декабре 1926 года, в театре Мейерхольда был проведен диспут на тему «Есенин и «есенинщина». Диспут был бурным. Даже самый крайний в то время напостовец В. В. Ермилов и тот вынужден был встать на защиту Есенина от «есенинщины»: «Характеризовать поэзию Есенина только как поэзию упадочничества — просто глупость, потому что творчество его сложно и многообразно»...

Овациями встретили Орешина, поэта, друга Есенина. В президиум без конца сыпались записки. Выступавшие говорили, что молодежь ждет правильной оценки творчества Есенина.

Совсем недавно, в день рождения Есенина, вместе с сестрами поэта — Екатериной Александровной и Александрой Александровной Есениными — и К. Л. Зелинским мы приехали на Ваганьковское кладбище. Еще издали мы увидали у могилы множество людей. Люди знают и помнят эту дату. Вся могила была засыпана цветами. Люди стояли молча. За них говорили принесенные ими цветы...

Но вернемся к тем далеким годам.

Осенью 1927 года мы со студией приехали в Крым. Наш тяжелый автобус, выехав из Ялты и покрутив «вокруг» гурзуфской горы «Медведь», вкатился в Алушту и остановился у самого оживленного места курорта — возле автостанции. Я выпрыгнул из автобуса и чуть не наскочил на одиноко стоявшего Маяковского.

Он пожал мою руку с силой абсолютного чемпиона по боксу.

— Отдыхаете в Алуште? — спросил я, потирая руку.

— Нет, приехал. Сегодня тут мой вечер.

— Как? — встревожился я. — Сегодня мы выступаем в курзале.

— Вы аристократы. А я скромно — в санаторном клубике... А вы все с «есенятами»? — сказал он, поглядывая на высыпавших из автобуса девушек, подростков и девочек, составлявших тогда производственную группу школы — студию.

— Вернее, с «дунканятами»,— ответил я,— а то «есенята» звучит как «бесенята».

Маяковский смотрел на веселый цветник в одинаковых легких розовых платьях, внезапно выросший на пыльном шоссе.

— Такие «бесенята», если вскочат в ребро, тут тебе и крышка...— пробасил он и тут же добавил: — Жара. Духота. А горло окатить нечем. Продают что-то подкрашенное,— повернулся он в сторону водного киоска.

— Можно здесь пива холодного выпить,— показал я на серый каменный дом напротив, во втором этаже которого помещался единственный ресторан Алушты.

— Мысль правильная. Пойдемте! (Сказал, как команду подал,— нельзя не подчиниться.)

Мы поднялись в совсем пустой ресторан, сели за столик и заказали пива.

— Едешь из Ялты,— сказал Маяковский,— видишь то с той, то с другой стороны, как медведь уткнулся мордой в Черное море, чтобы выпить его, и думаешь, как ему осточертело и опротивело пить веками соленую воду...

Маяковский замолчал и вдруг сказал:

— Да... Есенин...

Может быть, он ответил вслух на какие-то свои мысли?

Тут подали пиво. Он налил два стакана, отхлебнул от своего и поставил его обратно на стол. Пиво было теплым.

— Это хуже, чем пойло для гурзуфского медведя.

Мы вышли и распрощались.

Из Крыма студия выехала в Харьков, где в первую же ночь я проснулся от какого-то гула. Даже моя кровать чуть-чуть сдвинулась. Это был отзвук второго, очень сильного землетрясения в Крыму. Мы проскочили через Крым между двумя землетрясениями.

В Донбассе, после спектакля для шахтеров Макеевки, я повел студиек наблюдать за прекрасными движениями вальцовщиков прокатных станов.

Мы молча стояли, застыв в созерцании феерической картины, когда, стараясь перекрыть беспрерывный грохот, гул и рокот, раздался чей-то голос:

— Кто здесь товарищ Шнейдер?

— Я.

— Я начальник местного ГПУ. Сейчас я слушал радио из Москвы: ваша Дункан погибла при автомобильной катастрофе...

Это было 15 сентября 1927 года.

На станции Харцызск я купил «Известия» и сразу увидал заголовок — «Смерть Айседоры Дункан» и фото Айседоры, сделанное, очевидно, с портрета, висевшего в моем кабинете.

Мемуары Айседоры Дункан, изданные в 1927 году, оканчивались фразой:

«Прощай, старый мир! Завтра я уезжаю в новый!»

Второй том воспоминаний должен был охватить период ее пребывания в Советской России.

Незадолго до ее смерти, в Ницце, один из бесчисленных интервьюеров задал ей вопрос:

— Какой период вашей жизни вы считаете величайшим и наиболее счастливым?

— Россия, Россия, только Россия! — ответила Айседора.— Мои три года в России, со всеми их страданиями, стоили всего остального в моей жизни, взятого вместе! Там я достигла величайшей реализации своего существования. Нет ничего невозможного в этой великой стране, куда я скоро поеду опять и где проведу остаток своей жизни.

В сентябре 1927 года, за два дня до своей смерти, Дункан начала писать новую книгу. Несколько листов голубоватой, цвета хмурого неба, бумаги, на которой китайской тушью писала всегда Айседора, покрылись стремительными строчками странного ее почерка с буквами то горизонтально, то вертикально удлиненными...

...В тот сентябрьский вечер раскаленный асфальт Promenade des Anglais жарко дышал впитанным за день солнцем. Айседора спустилась на улицу, где ее ожидала маленькая гоночная машина, шутила и, закинув за плечо конец красной шали с распластавшейся желтой птицей, прощально махнула рукой и, улыбаясь, произнесла последние в своей жизни слова:

— Adieu, mes amis! Je vais á la gloire![1]

Несколько десятков секунд, несколько поворотов колес, несколько метров асфальта... Красная шаль с распластавшейся птицей и голубыми китайскими астрами спустилась с плеча Айседоры, скользнула за борт машины, тихонько лизнула сухую вращавшуюся резину колеса. И вдруг, вмотавшись в колесо, грубо рванула Айседору за горло. И остановилась только вместе с мотором.

Прибывший врач сказал:

— Сделать ничего нельзя. Она была убита мгновенно.

Чтобы освободить голову Айседоры, притянутую к борту машины, пришлось разрезать шаль.

Через два часа, около студии Дункан в Ницце раздался стук лошадиных копыт. Это везли тело Айседоры из морга домой. Ее уложили на софу, покрыли шарфом, в котором она танцевала, и набросили на ноги пурпурную мантию. Студия наполнилась цветами и множеством зажженных свечей.

Еще в Москве Айседора не раз говорила, чтобы на ее похоронах обязательно играли «Арию» Баха. Ее желание было исполнено, и в Ницце и в Париже играли «Арию» Баха.

Хотя Айседору и не собирались хоронить в Ницце, мэр города, узнав, что среди бумаг Дункан оказалась справка, подтверждающая желание Айседоры принять советское гражданство, заявил, что не разрешит хоронить ее в Ницце.

Утром пришла телеграмма от американского синдиката издательств, подтверждавшего договор на издание мемуаров Айседоры и сообщавшего о переводе через парижский банк денег. Она ждала этих денег, чтобы выехать в Москву.

Голубоватые, цвета хмурого неба, листы бумаги нетронутой стопкой лежали на столе Айседоры в Ницце. Страницы о годах, проведенных у нас, не были написаны...

В Париже на гроб Айседоры был положен букет красных роз от советского представительства. На ленте была надпись: «От сердца России, которое скорбит об Айседоре».

На кладбище Пер-Лашез ее провожали тысячи людей. После похорон в течение трех дней шло торжественное траурное заседание в Сорбонне под председательством Эррио. Комитет по увековечению памяти Айседоры принял решение поставить ей в Париже памятник работы Бурделя, но это решение не было осуществлено.

---

[1] Прощайте, мои друзья! Я иду к славе! *(франц.)*.

■

В 1927 году Луначарский как-то в разговоре заметил, что мне, как человеку, близко знавшему Есенина и Дункан, следует написать о них книгу. Луначарский тогда же написал письмо в Госиздат, рекомендуя заключить со мной договор. Редактуру он брал на себя. Книга была даже поставлена в план... Но тогда я ее так и не написал — не мог написать, слишком свежи были могилы.

Луначарский согласился с моими доводами и посоветовал начать воспоминания «издалека», посвятив первый том Москве артистической — дореволюционной и послереволюционной.

Жизнь моя сложилась так, что я приступил к этой работе только 20 лет спустя...

Пройден долгий путь по реке жизни. В закатный час я подхожу к устью. Впереди — море. И я тороплюсь засветить последние бакены, мерцающие огоньками далеких воспоминаний по всему протянувшемуся фарватеру жизни. Ах, промчаться бы берегом вверх по реке, мимо забытых пристаней, чтобы увидеть дорогие, разбросанные могилы, заглянуть в наполненные воспоминаниями тихие жилища и шумные освещенные здания, и с берегов, где раскинулись цветущие сады юности, вновь, от самых верховий начать уже пройденный путь. Скольких ошибок и несчастий можно было бы избежать!..

Я жил в великую эпоху, я видел и слышал Ленина, был свидетелем всемирно-исторических событий, встречался и работал с замечательными людьми!

Я переживал торжественные минуты труда, видя воплощение своих замыслов в сценических образах и на редакционных гранках с манящим запахом типографской краски... На мою долю выпала возможность восстановить страницы из жизни Сергея Есенина и Айседоры Дункан.

1949—1965.

■

Илья Ильич Шнейдер

ВСТРЕЧИ С ЕСЕНИНЫМ
Воспоминания

Редактор **И. Н. Фомина**

Художники Ю. Н. Владимиров, Ф. Е. Терлецкий
Художественный редактор Э. А. Розен
Технические редакторы Т. Ф. Клапцова, Е. А. Ельская
Корректор В. Е. Иовлева

■

Сдано в набор 7/VII-1965 г. Подп. к печ. 27/IX-1965 г. Формат бум. 60×84 1/16. Физ. п. л. 6,5+8 вкл. Уч.-изд.л. 7,2. Изд. инд. ХД-789. А11840. Тираж 100.000 экз. Цена 27 коп. Тем. план 1965 г. № 169.

■

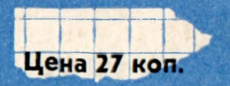
Издательство «Советская Россия», Москва, проезд Сапунова, 13/15.

■

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по печати, г. Электросталь Московской области, Школьная, 25.
Заказ № 665.

Цена 27 коп.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»


Цена 27 коп.